

7206к 7

Д.Н. СЕМЕНОВСКИЙ

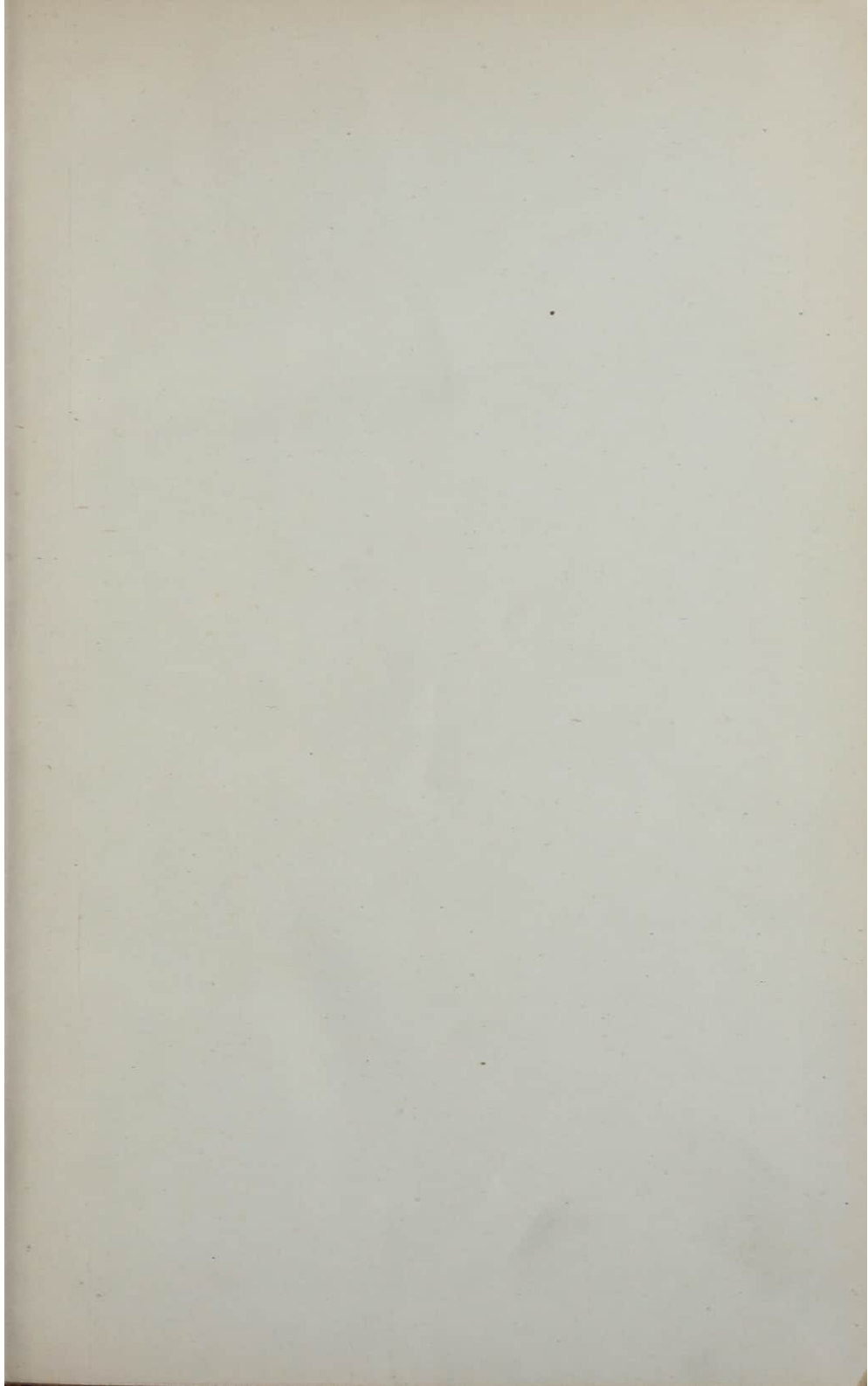
М С Т Е Р А

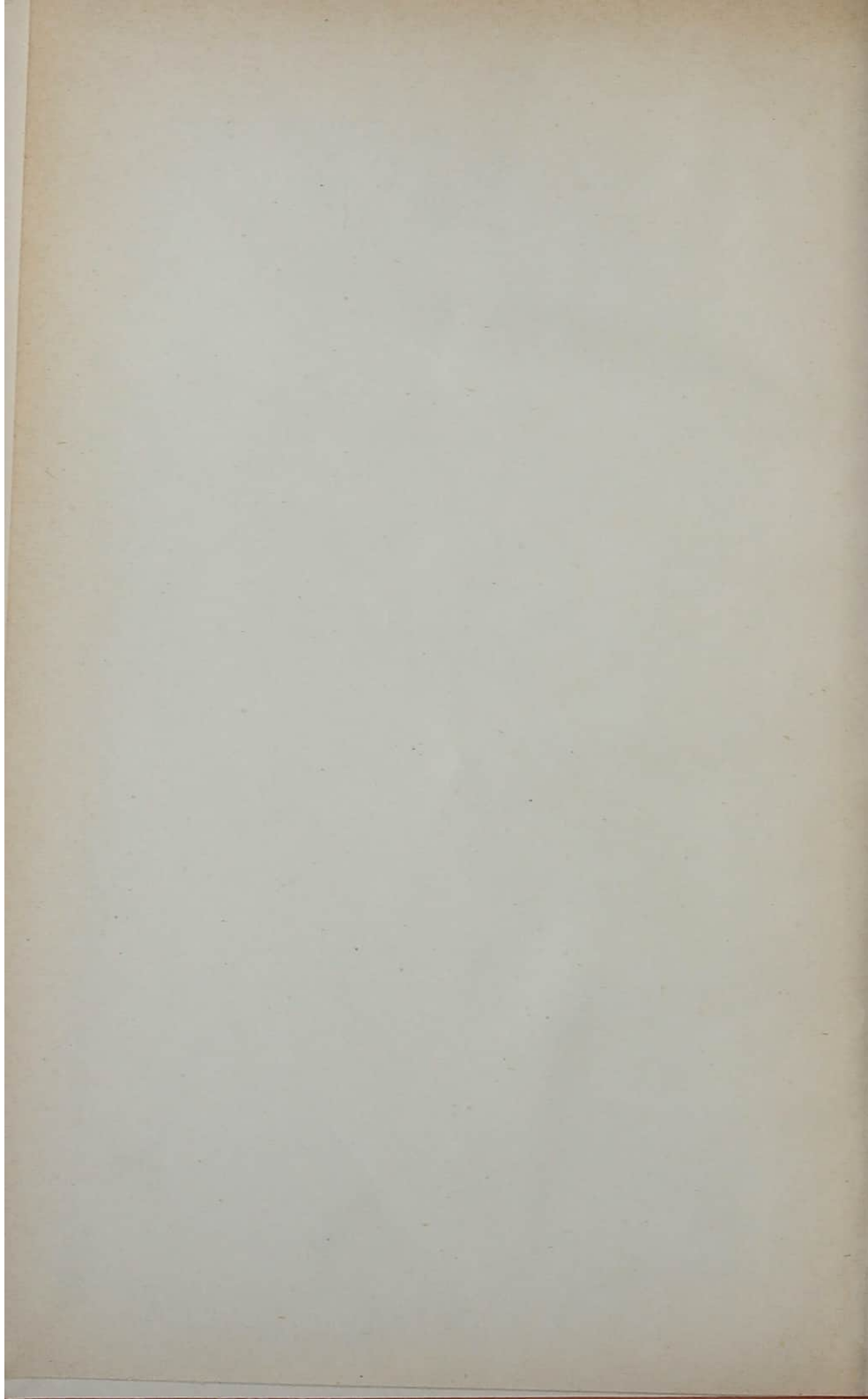


МОСКВА-ИВАНОВО

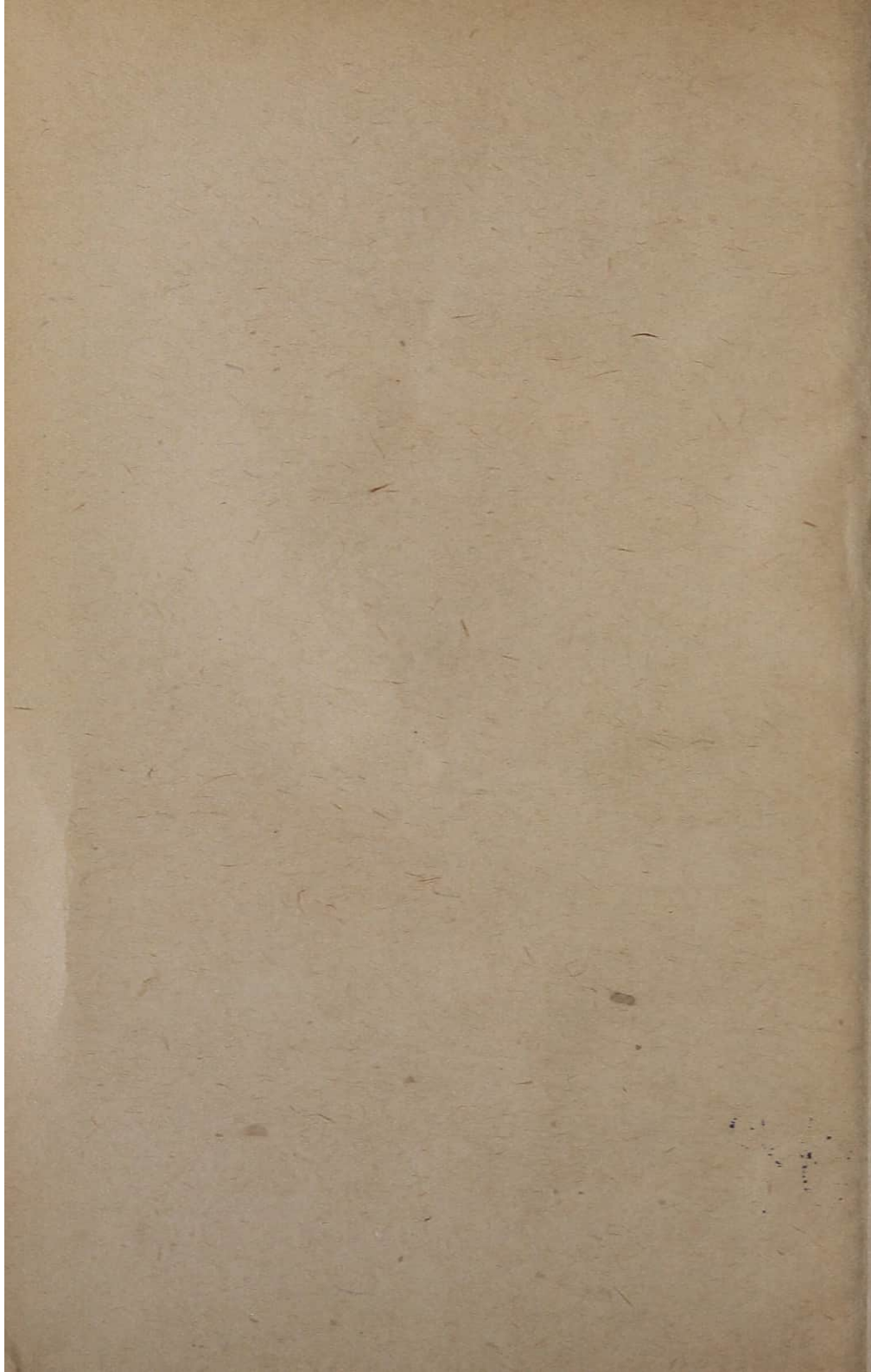
78

50









7206к

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

МСТЕРА

ОЧЕРКИ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛ КРЕДОВОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1937

94

1941

Э-2010

Редактор Д. Г. Прокофьев. Обложка, заставки и концовки выполнены художниками Мстери. Технический редактор В. П. Федоров. Корректор Н. А. Смирнова.

*

Сдано в набор 10/XI 1936 г. Подписано к печати 17/I 1937 г. Изд. № 82. Тираж 5200 экз. Формат 82,5 × 110/32. Вид. X-16. Уполн. Ивоблшта В-118. Бумага оф-ки „Маяк революции“. Бум. л. 2³/₄. Печ. л. 11. Учетно-авт. л. 8,3. В бум. л. 139 776 зн.

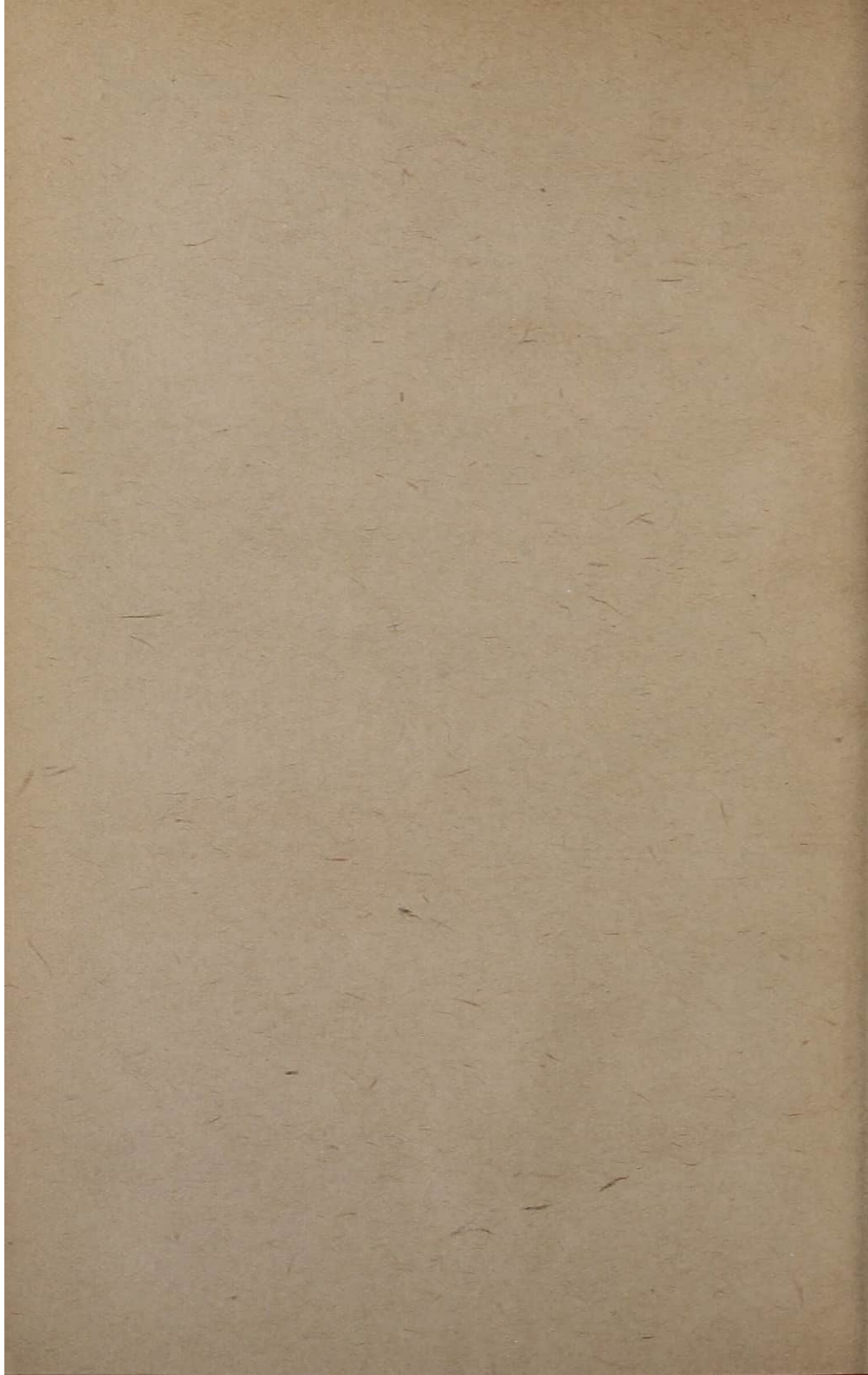
*

Типография издательства Ивановского обкома ВКП(б). Иваново, Типографская, 4. Заказ № 1216

*

Цена 2 руб. 50 коп.
Переплет 75 коп.

Три композиции





По широкой витой лестнице музея-дворца поднимались шесть мастеров села Мстеры, шесть народных художников, приехавших на открытие выставки изобразительного искусства и на слет художников Ивановской промышленной области.

Мастера всю ночь были в дороге — и казалось, что от них еще пахло полями и лесами, среди которых они ехали сначала на подводе, а потом на поезде в медленно занимавшемся осеннем рассвете.

Выставка встретила их сдержанно-гудящей толпой посетителей, ослепила многоцветным вихрем размашистых мазков, пышной неподвижностью богато убранных панно, пестротой текстильных рисунков, драгоценным мерцанием раззолоченных миниатюр.

Мастера были степенны и праздничны: все при галстуках, в старомодных парах и тройках, пропахших нафталином кованых сундуков; некоторые в чесанках с калошами. Чинные и нарядные, мастера ходили по выставке, как, верно, ходили бы по летней деревенской гулянке среди гармоник, зеленых березок и краснощеких модниц в гремящих ситцах. Мастера были в годах, все они вышли в худож-

ники из иконописцев, за плечами у каждого лежал длинный жизненный путь. Было на этом пути и плохое и хорошее. Но самое хорошее у них — впереди.

За окнами музея-дворца шумно и напряженно жил большой текстильный город. Там гудели самолеты, слоновой поступью бежали грузовики, бурно дышали фабричные корпуса, — звучала немолчная песня труда, мастера и художника жизни.

Шумно, людно было и здесь, в выставочных комнатах. С жаркой, переливающейся толпой народные художники переходили от картины к картине. Смотрели чужие работы. Видели — свои, выставленные на хорошем месте, против света.

Тут, среди миниатюр были и три больших композиции на папье-маше, последние работы мастеров Мстеры. Три переливающихся свежими красками доски, похожих на крышки дорогого альбома. Изю дня в день склонялись над ними три лучших живописца. Вчерашние ремесленники искали путь в искусство. Они переводили достижения предков на современный язык, старались вложить в линии и краски свое лучшее. Композиции должны были пойти на Парижскую выставку, но прежде Мстера решила показать их ивановским ткачам.

«Праздник урожая» написал Василий Никифорович Овчинников.

Созревшие плоды, столы под деревьями, нарядные люди. К пирующим колхозникам приближаются два человека. В одном из них по клину седеющей бородки, по лучам морщинок, по очкам на крупном носу нетрудно узнать М. И. Калинина. Он идет среди светлых вод, среди стад на лугах, машин на полях. Идет он по возделанной земле — и все кругом дышит избытком, плодородием.

Рядом с картиной стоял сам Василий Никифорович. Он был здесь такой же, как у себя во Мстере, — худой, большелобый, хозяйственный, вечно чем-нибудь озабоченный.

Дома Василия Никифоровича окружает живое, теплое, трепетное — дети, кролики, куры. Его легко представить себе купающим в корыте ребенка. Он работает в саду, любит цветы. Держит корову. Сам косит и сушит сено. Рядит и рассчитывает пастухов для всего мстерского стада. И золотые завитки орнамента, обрамлявшие его картину, напоминали былинки и колосья тех полей, среди которых живут народные художники.

Совсем другой Александр Федорович Котягин, написавший композицию «Героика Советского союза». На его внешность и внутренний склад наложили отпечаток города, где он, бывало, работал, прочитанные книги, культура. Много видевший и знающий, он крепко и уверенно ступает по земле. Крупный, спокойный, чисто выбритый, он тоже был здесь, в зале, и твердым взглядом небольших карих глаз смотрел на картины и на посетителей выставки, — на тех советских людей, образы которых народные художники показали в своих композициях.

Славой человеку, завоевателю пустынь, звучало его произведение мощным хором своих красок.

На картине — знойный день и грозная полярная ночь. Лагерь челюскинцев и герои ашхабадского пробега на конях. Белые колокольчики парашютов и тоннель московского метро. Палатки альпинистов. Автомобили, преодолевающие песчаную равнину Кара-Кума. Водолазы, опускающиеся на дно моря. И все это приведено к единству продуманностью композиционного построения. Все вместе создает то величавое настроение, имя которому — пафос советской героики.

А в композиции Александра Ивановича Брягина «Путь к социализму», запечатлелась его просветленная и сосредоточенная душа. Эта картина была радостна, как весть о прекрасной жизни на прекрасной земле. Нежность и теплота ее колорита отражали нежность и теплоту, свойственные мастеру.

Сквер в цветниках и деревьях. Среди сквера — памят-

ник: силуэтная фигура Ленина с призывно протянутой вперед рукой. Люди в праздничных одеждах смотрят в направлении вскинутой руки. Есть какой-то ритм в их удлинённых телах, в их позах и складках струящихся одежд. Люди видят сквозь просветы деревьев белое здание с колоннами — образ здания, возводимого на шестой части планеты.

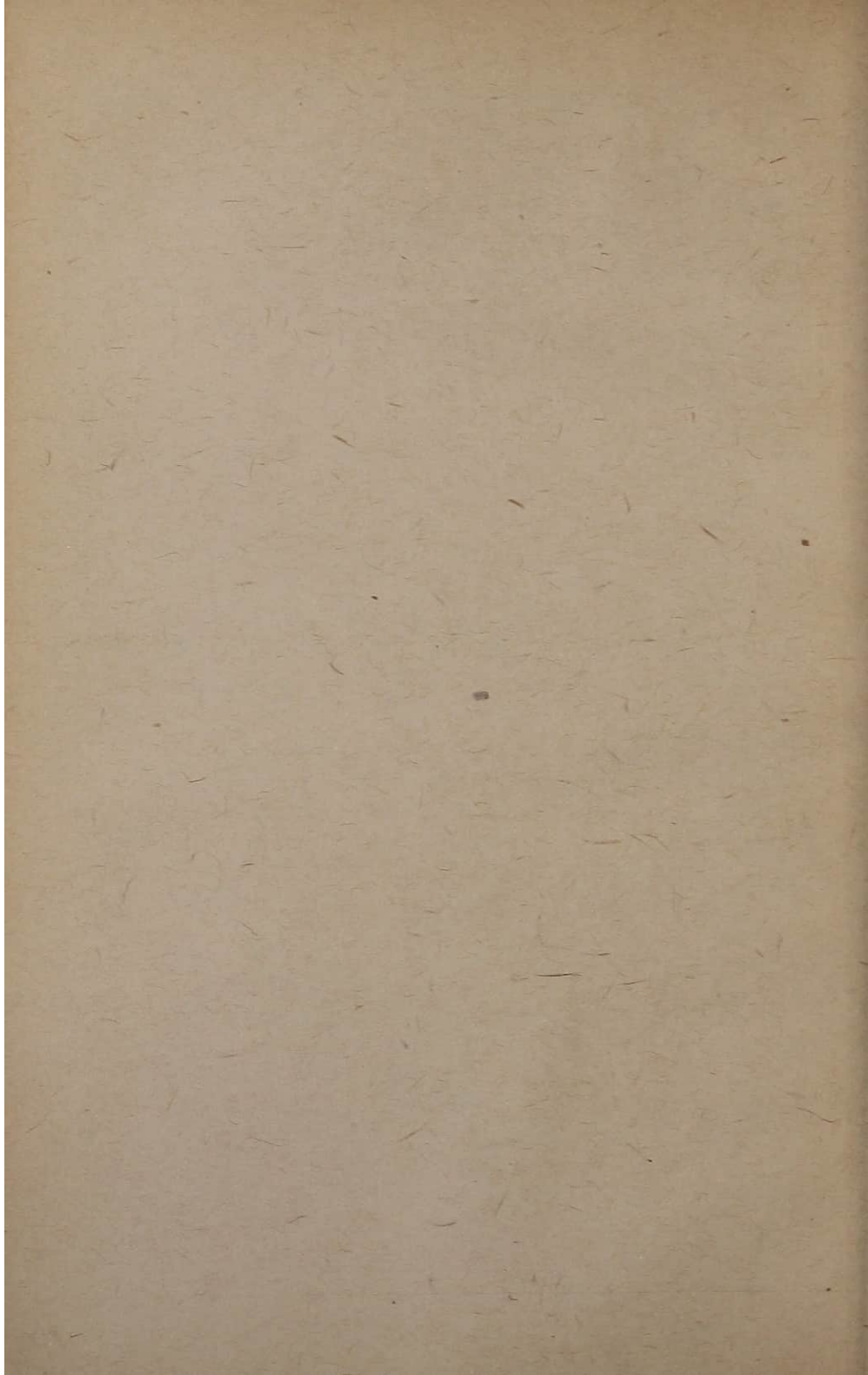
Вереница тракторов движется среди цветов и деревьев. И люди тоже похожи на большие цветы.

И сам Александр Иванович Брягин, все такой же, каким мы видели его летом в артельной мастерской мстерских художников: с головой, склоненной немного набок, с добрыми серыми глазами, стоял возле своей картины и рассказывал мстерские новости... Мстера лежала в десятках километров отсюда, среди лесов и лугов. Нам вспоминались обступившие ее хмурые боры, широко размахнувшаяся пойма, светлые реки, поросшие у берегов камышом и кувшинками. И артельная мастерская, где народные художники писали свои композиции. И рыбацкие костры над Клязьмой. И нежный, сладкий запах шиповника, розовой колючей стеной вставшего по берегу. И пестрые гулянки в тени соловьиных рощ, над привольем лугов, живущих второй жизнью на миниатюрах мастеров Мстеры. И песчаная земля, на которой в палящий июльский полдень крупные цветы гвоздики кажутся алыми огоньками, — земля самоцветных кладов и разбуженных творческих сил.



I

Художники
тонкой кисти





УТРО

Ранными июньскими утрами тиха, тениста Набережная улица, самая зеленая из улиц Мстеры. Шумят в холодном ветерке за палисадами рябины, сирень, серебристые тополя.

Утонул в зелени дом и художника Василия Никифоровича Овчинникова. Перед окнами мотают ветвями плакучие березы, на задворках раскинулся сад с яблонями, вишнями, сливами, с луковыми грядками и цветниками. Дом похож на украинскую хату: обмазан побеленной глиной, увит побегами фасоли, ползущими вдоль стен по веревочкам. Окна в синих наличниках смотрят за светлую Мстеру в луговое приволье.

С небом сошлась даль цветущей, пахучей, вымытой росой поймы. Вся изрезанная руслами рек и речек, пойма глядит в небо голубыми глазами заводин и озер. Среди рек, среди заводей, в несмятом травяном просторе, можно заплутаться, как в лесу.

С утра Василий Никифорович — в хлопотах, делах и заботах. Его легкая узкая фигура мелькает то в саду, то

на дворе, то на базаре. С плеч повисла коричневая полинявшая рубаша, низко подпоясанная на плоском животе. На голове — синяя, выгоревшая панамка. Запавшие глаза глядят прямо и открыто. Жесткие, редкие усы чернеют над тонкогубым ртом.

Василий Никифорович гоняется в саду за соседским голенастым петухом, ведет к ветеринару захромавшую корову, приторговывает на базаре белобрюхого язя. И вот, потрудившийся, но не уставший, он садится сам-сеньмой за кухонный стол к самовару. Сидит на краешке стула, прямой, поджарый, готовый, не допив чашки, вскочить и пойти навстречу новым делам.

В соседней комнате висит очень похожий его портрет. Художник Федор Модоров схватил на портрете характерную позу Василия Никифоровича: весь сложенный из острых углов, он сидит, как бы переломившись пополам, подперев щеку узкой ладонью. Таким Василий Никифорович бывает в минуты раздумий.

Но сейчас он трезво будничен и спокоен. Пьет чай с дымящимися лепешками, поглядывает в окно. Большой выпуклый лоб исписан морщинами. Надо чинить крышу: протекает. Столб надо ставить для электрической проводки, придется покупать бревно... Василий Никифорович говорит сыну:

— Мне, Коля, сегодня некогда будет. Накоси коровы травы.

Взяв с этажерки пачку бумаг, Василий Никифорович выходит из дома. Он идет в утренней прохладе по сухой, крепко утоптанной тропе мимо домиков с подзоринами в окнах, мимо палисадников, скамеек. Пересекает людную площадь, на которой галдит базар. Перед глазами блестят золотые буквы: Мстерская художественная артель «Пролетарское искусство».

Перешагнув высокую подворотню, Василий Никифорович вступает в артельный двор. Быстрые длинные ноги ма-

стера привычно пересчитывают ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж артельного дома — в художественную мастерскую.

Восемь часов. За окнами — слепящий свет, суетливое чирикание воробьев. Комнаты погружены в прохладу и тишину. Народу в мастерской еще мало. В открытое окно залетает ветерок, трогает оранжевый шелковый абажур висячей лампы и шевелит на столе обложку «Истории живописи» А. Бенуа.

Василий Никифорович садится за длинный стол, раскладывает перед собой растворенные в деревянных ложках краски, надевает очки с тесемочкой вместо сломанного рожка, берет тонкую кисть. Кроме ложек, перед ним треснувшее чайное блюдо для смешивания красок и поставец, на который опирается рука во время работы.

Василий Никифорович заканчивает миниатюру «Дом отдыха». На пластинке из папье-маше — крышке шкатулки — написано синее море, фантастические деревья с разноцветными ветвями, люди в белых одеждах возле дворца с колоннами. Лица людей еще не написаны.

Образы этих людей, густую синеву моря, теплое сияние южного неба Василий Никифорович привез из Крыма, с курорта. Привез он еще куст сирени. Сирень посадил в своем саду, а море, небо, зелень кипарисов разлились и расцвели на папье-маше.

Собираются, подходят другие мастера. Приходит Александр Иванович Брягин, белокурый, с лучистыми глазами и какими-то, точно связанными, движениями. Весь он светится ласковой тишиной. Он — полная противоположность тревожному, неугомонному Овчинникову, а сидит рядом с ним, в одной комнате, за одним столом.

У каждого художника в мастерской свое место. В соседней комнате работает Григорий Тимофеевич Дмитриев, обладающий густыми усами и таким же густым басом, запевала в артельных хорах. Рядом с ним — молодые ма-

стера: Шилов, Гурьянов и Култышев. Они принадлежат к поколению, не знающему кабалы иконописных мастерских. У девятнадцатилетнего Феди Шилова — круглое, полудетское лицо. Живет он в Коробах и ездит в артель на велосипеде. Когда его красная трикотажная рубашка мелькает среди овсов и ржей, кажется, что это летит огромная «божья» коровка.

В других комнатах большой артельной мастерской поставлены против окон те же длинные столы. За столами сидят над красками, над поставцами, над коробочками мастера: представительный Александр Федорович Котягин; сухой, загорелый Иван Николаевич Морозов; Александр Култышев и другие.

Почти все они потомственные живописцы. Их отцы, деды, прадеды всю жизнь писали иконы и церковные фрески. Иконописное ремесло переходило от поколения к поколению. Оно шло от искусства раннего Новгорода, от великого мастера древнерусской живописи Андрея Рублева, от цветистых строгановских писем. И хотя иконопись последних десятилетий уже не была художественным творчеством, а иконописец стал безличным исполнителем какой-нибудь одной из тех многочисленных функций, на которые распалось изготовление иконы, — лучшие работники, занимавшиеся реставрацией художественной старины, все же сохранили мастерство отцов до нашего времени.

Свои познания, вкус и умение они перенесли в нынешнюю миниатюрную живопись, внешние приемы и средства которой заимствованы из иконописной мастерской. Палитру заменяют ложки без ручек. Краски творятся на яичном желтке. Тонкие кисточки живописцев связаны из мягких волосков беличьего хвоста. Рисунок обрамляется золотым орнаментом. Чтобы золото блестело, его шлифуют коровьим зубом.

Так делали отцы и деды. Но отцы и деды не рисовали на «мирские» темы. В маленьких утонченных росписях ху-

дожников современной Мстеры живут образы, взятые из народных песен, из книг, из жизни. Тут и пушкинская сказка, и Степан Разин, и колхозный сад, и красноармейский лагерь.

ПУТИ В ИСКУССТВО

Художник Федор Александрович Модоров рос в Мстере, учился в Мстерской иконописной школе. Потом вместе с другими мстерцами — Брягиным, Антоновским, Бороздиным — работал на московского иконника Гурьянова. Но молодого Модорова тянуло к искусству. Стремление выбиться из иконописного ремесленничества заставило его учиться станковой живописи. Федор Модоров стал известным художником. И вот, войдя в мир прекрасного, он встретился там с теми, от кого ушел когда-то, — с бывшими гурьяновскими, дикаревскими, богатенковскими мастерами, которые тоже пришли в искусство, только другим путем. Житель Мстеры Брягин и москвич Модоров в советском искусстве очутились рядом, как рядом когда-то сидели в мастерской Гурьянова.

И Федор Александрович, приехав на лето в родное село, в первый же день пришел в артель к Брягину и другим мастерам.

Он ходил по мастерской, широкий, крупный, благодушный, в своем легком летнем костюме немного похожий на белого медведя. Небольшие, будто припухшие глаза на лице, с очень тонкой и чистой кожей, смотрели весело и приветливо, узорчатая тубетейка была надета на самую маковку. Постукивая тростью, гость обошел живописную мастерскую, поговорил с художниками. Вспомнил, как, бывало, писали у Гурьянова богородиц и угодников. Теперь мастера писали на папье-маше зажиточную жизнь и пушкинские сказки.

Федор Александрович прошел по двору в другие артельные цеха — в шумный и суетливый мир мечущихся рубанков, курчавых стружек, брызжущих опилок, банок с разведенной голландской сажей. Большой пресс с винтом предназначался для превращения картона в папье-маше — в шкатулки, портсигары, очешники, чернильные приборы. В цехах все блестело от постного масла и пахло скипидаром. Маслом пропитывают картон, чтобы он стал твердым, как дерево. Скипидар входит в состав красящего вещества, которым чернят заготовки. От печей, где сушились заготовки коробочек, несло зноем и запахом сухой глины. Ею были наглухо замазаны печные дверки.

В заготовительных цехах прессовали, обтачивали, клеили, грунтовали, крыли лаком коробочки — заготовки. В отделочных — отделявали коробки, разрисованные живописцами.

Процесс превращения картона в зеркально-блестящую шкатулку с художественной росписью на крышке был сложен. Шкатулка проходила через десятки рук. Но сейчас Модорова занимал не столько производственный процесс, сколько люди, которых он давно не видал. Старички в мешочных фартуках, черными от сажи руками грунтовали, пемзовали, отшкуривали. Почти все раньше были иконописцами. Всех их художник знал. И его здесь знали. Говорили, как со своим.

Горбясь на некрашенной табуретке, привычно чернил коробку за коробкой дядя Яков Рачков, лицом похожий на бурята, страстный удильщик. Рядом сидел Дмитрий Трофимович Кулаков, в прошлом — хороший чеканщик по металлу, скуластый, с продолговатой головой в седых коротких волосах.

- Отдохнуть приехал, Федор Александрович?
- Семья будет отдыхать, а я хочу поработать.
- Что же, поработай. У нас — тихо, спокойно... И отдыхать и работать хорошо...

Художник спросил стариков о житье, о здоровье. Дядя Яков ответил:

— От молодых в работе пока не отстанем. Значит, еще не совсем устарели.

А Кулаков рассказал, как в марте он хворал крупозным воспалением легких и как внимательно ухаживали за ним в больнице.

— Уж так хорошо, так хорошо ходили! Лучше родных!.. Хочу выразить врачам через газету благодарность, да вот горе: сам не могу статью составить...

В полировочном цехе, где неутомимо двигались руки с суконками, бригадир Павел Александрович Морозов, пожилой, солидный, спокойный расставил перед художником несколько законченных шкатулок:

— Вот, Федор Александрович, посмотрите наши последние работы.

Были тут разные по качеству вещи. Были росписи мастеров и ученические копии. Экспортные миниатюры, и для широкого потребления. Перебирая коробки, Модоров одно хвалил, другое — критиковал:

— Это вот качественно написано... А тут тона глухи... Здесь в рисунке мало динамики, деревья слишком прямы, — а по краскам чувствуется художник...

Но основным чувством, которое испытывал Федор Александрович, разглядывая коробочки своими внимательными глазами, было радостное удивление перед бурным, почти сказочным ростом бывших иконописцев. Четыре года назад нынешние художники были обыкновенными кустарями. Сейчас стало возможным говорить о творческом лице Брягина, о любимых сюжетах Овчинникова. Стало возможным говорить о самобытном стиле мастерской миниатюры. Художники стремились раскрыть себя шире, глубже. Они переходили к новым формам живописи — к станковой миниатюре.

Заготовки для станковых миниатюр — три больших

«пластины» — были отработаны и ждали кисти живописца. Их тоже показали Федору Александровичу.

— Новое наше дело...

Художник по очереди осмотрел каждую заготовку.

На «пластинах» еще не было ничего, но Модорову уж чудились на них линии будущего рисунка. Проступали очертания деревьев, гор, палат. Контуры покрывались красками, одевались прозрачными плавнями. Серебристые пробелы ложились на платья и лица людей.

Три лучших мастера Мастеры будут работать над этими досками, прокладывая путь в искусство для всей артели художников.

Черный лак загорится бирюзовыми, алыми, желто-розовыми, серебристо-голубыми тонами. Доски станут искусством.

СОБРАНИЕ МАСТЕРОВ

Перед концом рабочего дня прошел по цехам молодой артельный культурник Николай Догадин, скликая всех на собрание.

Во дворе за столом для президиума сидел председатель артельного правления Леонид Васильевич Юрин, с красноватым, воспаленным от солнца лицом, с тибетейкой на обритой голове. Сидели рядом приезжие гости — художники из Иванова и Москвы: полный, в белой рубашке Вольтер, худой темнолицый Голубев, широкий Модоров. Деловито склонился над бумагами секретарь собрания Александр Федорович Котягин.

Ветерок шевелил протоколы. Падали на них козявки и пушинки тополя. В пенсне Алексея Александровича Вольтера отражался артельный двор. Отражались сидевшие на стульях, скамьях и приступках крыльца артельщики.

Были на собрании мастера: Брягин, Овчинников, уса-

тый Дмитриев, похожий на девушку Шилов, Гурьянов и Култышев — младший. Расписались на явочном листе: Култышев — старший, Морозов, брат председателя Евгений Юрин и другие.

Как разноцветные мазки на расписной коробочке, пестрели рубашки, галстуки, пиджаки. Цвела расшитая кофеворотка Соколова, бывшего палешанина. Чернела заправленная в брюки рубашка столяра Одинцова. Широкою грудью его друга Кибирева обливала голубая майка.

Пришел на собрание патриарх артели Николай Прокофьевич Клычков, круглый и розовый в свои семьдесят пять лет. Собрались другие живописцы, грунтовщики, лакировщики, полировщики. Одни — молодые, другие — умянные жизнью: дядя Яков Рачков, Кулаков, Шишаков. Их морщины и седины рассказывали печальную повесть о работе на хозяев с рассвета до ночи, о лишениях и нехватках. Собралась вся артель вплоть до вежливого, аккуратного старичка, сторожа Феоктистыча.

Разные бывали в артели собрания. Бывали — будничные, с очередной информацией, которую принимали к сведению. Бывали и бурные, с огненной лавой чувств, хлопочущей под тонкой корой слов. Но это собрание мастеров и приезжих художников было особенным.

Человек поднимается на крутую гору. Он шел упорно и прошел много, но вершина еще впереди. Сейчас будет новый трудный подъем. Человек останавливается, чтобы собраться с силами. Он смотрит вниз на пройденную дорогу, глядит вверх: далеко ли до конца? И снова бодро пускается в путь.

Вот на такую передышку пред новым подъемом и походило собрание.

Даже из той смеси выражений «значит» и «так сказать» с большими и маленькими цифрами, которая в повестке собрания была названа «докладом о работе артели», можно было почувствовать, какой крутой подъем одолели

мастера. Докладчик — заведующий производством, крепко сбитый, чернявый Саша Фомичев, говоривший «порцыгары» и «пиналы», и сам не считал себя хорошим оратором. И все-таки, слушая Сашу, каждый из сидящих на собрании мысленно оглядывался назад.

Начинали с копейками. Расписывали подносы и деревянные ложки.

Теперь у артели свои дома, школа, столовая, запашка. Нажита известность. Работники артели сделались мастерами, ибо всякий труд, доведенный до совершенства, становится мастерством.

Мастера живописи, полировки, опиловки смотрели на мастера Клыкова. Николай Прокофьевич снял с головы старомодный картуз. Беловолосый, степенный, в черном глухом пиджаке, он отер платком розовое лицо и заговорил:

— Раньше мы хоть и старательно работали, а назывались кустарями и вели кустарное существование. Теперь мы, конечно, все также стараемся, а, может, и еще больше. Только зовут нас уж не кустарями, а художниками. О нас теперь далеко слышать. Значит, что же? Видно, мы, и вправду, выросли?

Он вопросительно взглянул на артельщиков своими старческими голубыми глазами и опустил на стул. Ему захлопали. Этот старый человек на восьмом десятке лет рос вместе с другими и вырос в своеобразного художника.

— Выросли, Николай Прокофьевич, и здорово выросли, — крикнул Модоров:

— Видел я сегодня вашу работу, чудесные есть вещи!..

И он заговорил о своем впечатлении от осмотра миниатюры, — о радости, которую вызвали в нем краски мастерских коробочек. Называл мастеров знатными людьми, болеющими душой за свое производство. Называл их прекрасными художниками.

И мастеров охватывало чувство гордости за себя, за своих товарищей, за всю артель. Оно как будто поднимало

людей. Наполняло их верой в свои силы. Оно светилось во взглядах и улыбках. Прорывалось в словах и интонациях.

Разные бызали в артели собрания. В другое время сколько было бы крику о произведенных неполадках, о задержке зарплаты, о нерентабельности артельного пригородного хозяйства. Сколько бы вырвалось гневных слов о зажиме в артели демократического начала, о ненужных накладных расходах! Из-за всего этого стоило и волноваться, и кипеть. Но сегодня все это отступило на задний план перед основным, перед главным.

Встал председатель Юрин, взмахнул рукой и сказал, что да, достижения у артели есть, и немаленькие. Художников Мстеры прозвали «русскими голландцами», а это чего-нибудь да стоит. Но можно ли складывать руки? Можно ли успокаиваться на том, чего добились?

Леонид Васильевич остановился, будто ждал от собрания ответа. И отрубил:

— Нет!..

Вскинул белые прямые ресницы. Повел рукой.

— Пред нами стоит большая перспектива...

И повторил:

— Перспектива дать художника-творца!..

Артель не прекратит исканий. Вот на днях три художника примутся писать «станковые миниатюры» — большие композиции на современные темы.

— Зачем это делается? — спросил Леонид Васильевич. И сам же ответил:

— Затем, чтобы подойти к фреске, к искусству украшения стен...

Сказал, что приемы этого искусства давно знакомы мстерцам. Но мастера напишут теперь не угодников, — они дадут стране стенные росписи в своем новом стиле и с новым содержанием.

Поднялся от бумаг Котягин, плотный, массивный. А

когда заговорил, то массивным показался всем и его густой низкий голос:

— Да, мы — старые фрескисты. Кто сейчас работает над фреской в Московском кремле и в Киевском Софийском соборе? — Мастера нашей мастерской выгучки. На церковной живописи нам трудно было развернуться. Сейчас — другое дело. У всех нас — сильное стремление к росписи стен...

Говорили гости. Говорили о том, что народные дворцы советских городов ждут своих художников-фрескистов, многоликого Андрея Рублева. Радостными красками расписывает он жизнь.

Даже неохотно выступавший на собраниях Брягин сегодня изменил себе. Ветер шевелил легкие русые волосы Александра Ивановича. Глядя куда-то вбок, мягким, немного хриплым голосом, художник произнес:

— Самое-то трудное — позади. Случалось, что последние сапоги меняли на хлеб, да рисовали. А теперь что не рисовать! Когда видишь, что твоя работа нужна, что ее ценят, так вдвое силы прибывает... Желание к работе у нас большое, это верно!..

Брягин замолчал. Хотел прибавить еще что-то, но махнул рукой и сел. Всем хотелось сказать свое слово.

Заговорили самые упорные молчаливники, с трудом подыскивая выражения для ускользавшей мысли. Спрашивали, с чего начинать картину: с фигур или с неба, как это делает Брягин? И едва художник Модоров успел ответить, что в станковой живописи начинают с фигур, как раздался новый голос:

— Как должен работать мастер: по шаблону или по всем заучкам своего мастерства?

Грунтовщик Кулаков, чеканивший прежде иконные оклады, тоже хотел внести в производство свое мастерство. — Нельзя ли чеканить к коробочкам металлические украшения: накладки к замкам, уголки?

Но хотели высказать свое и столяры, и полировщики.

Опиловщик Одинцов рассказал, как дружно работают столяры, как они придумывают разные улучшения. Взять хотя бы его друга Кибирева: человек изобрел новую форму пресс-папье без ручки. И проще делать, и места для росписи больше стало.

Полировщики рассказывали о своей работе. У них, в полировочном цехе, тоже есть свои мастера и ударники. Полировка требует умения и старания. Как довести коробочку до зеркального блеска? Надо полировать всей ладонью, чтобы от нее тепло шло и разогревало лак. Надо все время чувствовать под рукою живопись. Зрячей должна быть рука полировщика.

В полировщики поступил недавно и Василий Степанович Юрин, отец председателя, семидесятивосьмилетний старик. Большой, в длинной с прозеленью бороде, как над речный вязь, он бубнил соседям:

— Кто до моих годов дожил, те давно на печи лежат. А я не хочу на печь!..

ДВА ХУДОЖНИКА

Наступает для человека такой час, когда невозможно сидеть в комнате. Стены кажутся слишком тесными. В голове так много мыслей, а в сердце — чувств, что они просят простора. Хочется куда-то идти, думать, говорить.

Художники Брягин и Котягин после собрания пошли не домой, а за Мстерку, в луга, затем, чтобы присмотреть место для уженья.

Но выбор места был только предлогом.

Шли по мягкой тропе, окаймленной кашками, лютиками, лиловыми колокольчиками. В низинах густо голубели незабудки. Предзакатное солнце золотило траву и она была, как волосы земли. Чайки кричали над водой. В сто-

роне паслось стадо, и мычание коров звучало уже по-вечернему.

— Погодка! — с восторгом сказал Брягин. Сейчас, когда художники шли рядом, было видно, как непохожи они друг на друга. Их можно было сравнить с двумя лучшими месяцами года: Брягин — мягкий нежный апрель, Котягин — возмужалый успокоенный август. Александр Иванович Брягин в белой фуражке и низко подпоясанной, тоже белой косоворотке, чуть-чуть склонив голову к левому плечу, своими серыми глазами радостно смотрел на реку и луга. Так как контуженная на войне шея его была неподвижна, то он, чтобы взглянуть на своего спутника, должен был повернуться к нему всем корпусом.

Александр Федорович Котягин голову держал высоко. Нес свое большое тело ровно и неторопливо. Был одет в синюю рабочую блузу и фуражку с белым верхом.

— Погодка, — повторил Александр Иванович.

— Да, — сдержанным басом откликнулся Александр Федорович. — Да, хорошо!

Он повернул к Брягину лицо с тонким, слегка нависшим носом и большим подбородком. Солнечный луч зажег в его светлокариых глазах золотые искорки.

— Хорошо!

Теплый луговой ветер прикоснулся к лицам художников. Они шли над голубеющими заводями с камышом и кувшинками у берегов. Много попадалось мест, удобных для ужения, но художники за разговором не замечали их.

— Интересное было собрание, — сказал Брягин.

— Почаще бы такие, — ответил Котягин: — когда встречаешься с культурными людьми, то весь как-то наэлектризовываешься, обновляешься для работы.

Он взмахивал сорванной травинкой и светился возбуждением.

Говорили о станковых миниатюрах.

Оба художника давно вынянчили свои темы: Котя-

гин — «Героинку Советского союза», Брягин — «Путь к социализму». У обоих были готовы карандашные наброски задуманных композиций. Радовались, что не забыли заучку живописному делу. Не бросили кисть для какого-нибудь другого занятия. В короткое время показали себя хорошими мастерами. И еще покажут!

— Еще поработаем, видно, Александр Иванович?

— Поработаем.

Большое вишневое солнце садилось в луга. И будущее казалось художникам таким же широким и манящим, как облитое солнцем раздолье.

ЛИРИКА КРАСОК

I

Александр Иванович Брягин первый взял одну из трех готовых «пластин». Он добросовестно сделал подготовку вещи: покрыл ее белилами, перевел на белое поле рисунок карандашного эскиза. После этого Александр Иванович приступил к живописи. Кисть он выбрал не такую, как всегда, а побольше, пошире.

Писать начал опять по-своему: не с фигур, а с неба, с облаков. Облака на картине грудились, как грозди каких-то белых плодов. Художник смотрел в окно на голубое небо, потом — на свою работу. Смешивал краски. Искал подходящего тона.

Задумчиво говорил:

— Да, придется нам поплавать с этими досками.

Мы любили смотреть, как работает Александр Иванович. Сосредоточенный и спокойный, в очках, в белой сатиновой рубашке с отложным воротником, он кисточкой переносил краски с блюда на «пластину». Справа от него на столе лежали пачка папирос «Бокс» и эскиз компози-

ции — бегло набросанные контуры человеческих фигур, зданий, деревьев.

Положив слой красок, Александр Иванович всем телом поворачивался на табуретке в нашу сторону. Объяснял:

— Писать яичными красками не то, что масляными. Чтобы усилить тон, приходится накладывать краски слоями. А класть новый слой можно только тогда, когда сохнет старый...

Белыми пятнами на географических картах обозначаются неисследованные земли. Вначале картина Александра Ивановича была сплошным белым пятном. Но кисть мастера, как неутомимый путешественник, изо дня в день терпеливо двигалась по белой пустыне. И в пустыне зацветали луга, выросли деревья, вставали красивые дворцы.

Мы сравнивали картину с карандашным наброском. Александр Иванович, положив кисть, говорил:

— Эта штука, эскизы, много берет у нас труда. Над эскизом приходится крепко думать. Ведь, надо добиться того, чтобы одна часть не выпирала против другой, и все чередовалось и связывалось. Эту работу приходится делать безвозвременно, в часы отдыха...

Он снова брал кисточку. Подбирал тона, как подбирают цветы для букета. Писал и все дивился тому, что вот сидит в чистой уютной комнате, рисуя миниатюры, о которых пишут в газетах и журналах. А давно ли он стрелял из винтовки, копал гряды, размышлял церкви за рожь и картошку? Александр Иванович разогревался воспоминаниями, как зажженная лампа. И, как от лампы с белым абажуром, от него исходил мягкий свет. Он брал папиросу, снова поворачивался к нам и начинал рассказывать о разных случаях своей жизни.

Его жизнь была не бедна событиями.

Писал иконы, сидел в окопах, лечился по лазаретам,

работал реставратором в музеях, сколачивал артель. Жил в Москве, Ленинграде, Новгороде, Вологде, Сибири и других местах.

— А знаете, — сказал Александр Иванович, — ведь это чистая случайность, что я стал художником.

— Как случайность?

— А так...

И Александр Иванович неторопливо рассказал нам, что отец сначала не хотел обучать его писанию икон. Хотя сам он в ту пору и считался лучшим по Мстере мастером, сына думал пустить по другой дороге. Но другой дороги в жизнь не нашлось для маленького Брягина-Рокина («была у нас еще вторая фамилия: Рокины»). В семье было девять едоков, — о гимназиях и мечтать не приходилось. А после 1905 года, пережив полосу колебаний, Александр Иванович уже работавший мастером, и сам решил бросить иконопись.

Хотел готовиться на аптекарского ученика. Если бы не война, корпорация фармацевтов пополнилась бы новым членом.

— Вот видите. Я — художник по случайности. Разве неправда?

Мы не согласны с Александром Ивановичем.

Мы готовы признать случайным и спорным в его облике все, кроме одной главной черты. Он — художник прирожденный. Художник по всему внутреннему своему складу. И если бы даже он никогда не написал ни одной миниатюры, то все равно оставался бы художником — человеком особенного зрения и мироощущения. Его художническая сущность выражается во всем: в том, как он смотрит, как говорит. И даже на той обстановке, в которой он живет, лежит отпечаток его неповторимой даровитой личности.

А живет он на Нижней улице, в серых песках которой буксуют колеса грузовиков с клееночной фабрики. Двухэтажный полукаменный дом раньше был постоянным двором и чуть ли не разбойничьим притоном. Скукой российских захолустьев веет от его потемневшей тесовой обшивки. Теперь дом заселен работниками артели. Квартира Брягина — вверху.

Мы поднимались по расшатанным ступенькам крутой лестницы. Вступали в потемки сеней с перекосившимся полом. Нащупывали низкую скобу и, отворив дверь, сразу попадали в просторную белизну.

И вот уж по чистым половикам, приветливо улыбаясь, шли к нам хозяева.

Нас усаживали за стол, застланный очень опрятной скатертью. Возле стола зеленел большой фикус. На гляцевитых его листьях не было ни пылинки. На столе появлялась блистающая все той же чистотой чайная посуда. Появлялись в тарелках мятные пряники, печенье, яблоки, вымытые до лакового блеска. И Анна Никифоровна, черноволосая, смуглая, в белой кофте, сыпала вологодским говорком:

— Пожалуйста, возьмите печенья... и яблок тоже...

Чем дальше мы вглядывались в облик этого жилища, тем яснее чувствовали его своеобразие — сочетание суровой простоты и холодноватой белизны.

Вещей в комнатах немного. Ничего лишнего. Никаких безделушек и ненужностей, засоряющих квартиры мещан. Пол тщательно выскоблен. Потолок оклеен белой бумагой, стены — розовой. А пышная, какая-то будто неприкосновенная, постель даже в самый жаркий день похожа на не тающий сугроб. Мы находили, что простота этих комнат удивительно гармонирует с внутренним миром Александра Ивановича.

Его человеческий стиль — в светлой сосредоточенности и какой-то душевной чистоте. Он не дарит себя вещами.

Есть на свете прекрасное и удивительное: высокие горы, синие моря, могучие реки, луга, покрытые цветами. Есть певучие стихи и бессмертные идеи. Широко раскрыть глаза, всматриваться в жизнь и воссоздавать ее в красках — в этом радостный подвиг художника.

Есть на свете прекрасное. И оттого Александр Иванович не тяготится неуютом песчаной Нижней улицы. Житель серого дома, он носит в себе мир ярких и праздничных образов.

С гостями Александр Иванович говорит о том, что считает самым главным в своей жизни: о миниатюрах, о работе в музеях. Вспоминает, как разрисовывал в Вологде ковши и братины. Показывает каталог, где названы и его работы. Показывает наброски с натуры.

— В молодости, когда я жил в Москве, посещал студию Паманского. Вот и теперь учусь...

В летний вечер мы шли потемневшими лугами. Влево под синей грядой облаков теплилась далекая заря.

— Смотрите, какие облака, — сказал Александр Иванович: — точно сказочный город...

Он глядел на зарю, на поднимавшийся с лугов туман. Говорил о Мстере, о своем любимом времени года, осени.

— Тогда у нас особенно красиво. Лес распестрится, и очень уж он хорош в это время. А солнце в августе какое-то золотистое...

В Брягине нет того беспокойства, которое заставляет Василия Никифоровича Овчинникова вечно волноваться и хлопотать.

Александр Иванович редко выступал на артельных собраниях с критикой. Это у него как-то не выходит. Если в артели сделают что-нибудь не по его, он скажет:

— Наши-то делаки опять начудили.

И снова возьмет кисточку, чтобы писать «Железный поток» или «Уборку урожая».

Все его душевные силы сосредоточены на том деле, которое он считает главным для себя. Но жизнь вела его к этому делу извилистыми путями. Через иконописные мастерские, через окопы и больничные бараки, через тифозный бред, голод и опасности.

III

Собираясь на рыбную ловлю, Александр Иванович достал из потемок своего крыльца пук сухих удильников. Осмотрел лески. Нынешним летом он в первый раз собирался удить, а раньше любил посидеть с удочкой на реке.

К воде, к зеленым берегам, к звукам и запахам лугов привязался он с младенчества. И когда шестнадцатилетним подростком впервые приехал работать в Москву, его все тянуло назад, на приволье Мстеры. Хозяин иконописной мастерской Гурьянов, старавшийся связать своих мастеров контрактами, приставал и к молодому Брягину:

- Давай, подписывай условие на год.
- Погожу, Василий Павлыч.

Так и не подписал. А как только бульвары задымились первой зеленью, Брягин не выдержал. Купил на вокзале билет и без копейки в кармане поехал домой. Отец встретил его вопросом:

- Денег привез?
- Нет. Вот гармонь за восемь рублей купил.
- Гармонь! На что она?
- Играть.

Однако играть при отце не смел. Уходил на задворки и там в одиночестве наслаждался музыкой. А то шел с удочками на Мстерку, на Клязьму, на розовый Шиповый Яр...

Вот и теперь, вскинув на плечо пару удильников, Александр Иванович отправился на реку. Миновал мельницу. Берегом Мстерки дошел до любимого своего места, напротив строчевой фабрики. Тут, бывало, попадались крупные плотвицы.

Александр Иванович размотал лески. Насадил на оба крючка по хлебному катышку. Закинул в прогалину, сиявшую между кустами ольшанника.

Закурил.

Клевало плохо. Солнце грело шею. Комары тонко плакали над ухом. Александр Иванович глядел на снесенные течением поплавки, на затененную воду с осокой у самого берега.

Тихо струилась вода. Она как-будто смывала дневную усталость с души Александра Ивановича. Она текла, как жизнь.

Лет сорок назад также глядел на бегущую реку Саша Брягин-Рокин. Когда наклонялся над водой, в ней отражались белые вихры и загорелое лицо. Приносил матери маленьких серебристых рыбешек. Мать была худа, измучена родами, большой семьей, работой. По вечерам устало качала ногой зыбку, а руками вышивала. Детство прошло быстро. Работал иконописцем. Началась война. Рядовой Брягин сидел в окопе и стрелял. Германский снаряд завалил Брягина землей. Откопали. Лежал в лазарете. Контуженная шея осталась парализованной, но едва ли могла избавить от фронта. А второй раз попасть в окопы не хотелось.

Выздоровевших начали распределять по специальностям:

— Кто из вас шоферы? Выходи.

— Я шофер, — крикнул Брягин, выступая вперед. Записали в запасную автомобильную роту. Она находилась в Царском Селе. Служили в ней артисты, художники, писатели. Управлять автомобилями Брягину не пришлось. Его

как живописца, заставили расписывать трапезную, в которой принимали иностранных гостей.

А скоро пришлось перейти на другое дело: закрасивать гербы и надписи на вагонах императорских поездов Петроградского узла. Работа была веселая, но запоздалые февральские морозы семнадцатого года проникали сквозь солдатское сукно до самого тела. Простудился и на три месяца слег в лазарет.

Потом реставрировал фрески в Московском кремле, в Петрограде и Новгороде. Заболел сыпняком. Валялся в холодном бараке. Выписавшись, сел в битком набитую теплушку и поехал на родину. Шатаясь от слабости, исхудавший, в выношенной шинели, шел со станции в село. Был девятнадцатый год. К деревням крались тощие волки. Рвали в клочья собак и овец. Безработные иконописцы ездили за хлебом и сажали картошку. По вечерам сидели с гасиками. Жить было нечем, делать было нечего. Александр Иванович пошел в военком:

— Мобилизуйте меня в Красную армию.

— Да ведь твой год еще не призывается?

— Все равно, не сегодня, так завтра придется служить...

Приняли. Назначили в войска внутренней охраны. С отрядом разыскивал по деревням дезертиров и зеленых. Задерживал бандитов. Метели. Прясла, увязшие в сугробах. Седые леса. Морозы. Настороженные взгляды деревенских богатеев.

Тут в судьбу Александра Ивановича вмешался отдел музеев при Наркомпросе. По ходатайству отдела красноармеец Брягин был откомандирован в Москву на прежнюю работу реставратора.

Работал в Сергиевском музее. По вечерам уходил в осенние поля. Однажды помог какой-то деревушке выкапывать картофель. Разгоряченный посидел на холодной земле и тяжело захворал ишиасом. Врач сказал Брягину:

— Поезжайте-ка, голубчик, в деревню. Лечитесь жаркой баней и горячей печкой.

Снова пришлось жить у отца.

Чтобы не быть в тягость семье, работал в огородах. Начал размывать за хлеб церкви — счищать со стен многолетнюю копоть свечек и лампад. Тогда, в двадцатом, ржаной каровой еще имел над людьми неограниченную власть. Размывая церковь в соседнем Троицком-Татарове, чуть не расшибся. Работал под куполом, стоя на высокой передвижной лестнице. В руках была мочальная кисть. Под ногами — узкая дощечка, скользкая от стекавшей сверху мыльной воды. Ноги поехали. Александр Иванович полетел вниз, но успел за что-то ухватиться и не разбился. На него напал страх. Но была сделана только половина работы, а за размывку всей церкви предстояло получить десять пудов хлеба. Как закончил размывку, до сих пор трудно понять.

— Клюет!..

Один из поплавок — тот, что был поближе, — дрогнул, потом сразу глубоко окунулся в воду. По воде, расширяясь, побежали круги. Александр Иванович обмер. Потянул удочку. Крупная плотвица, описав в воздухе дугу, упала в траву и забилась. Сняв плотвицу с крючка, Александр Иванович пустил ее в ведро с водой.

Теперьшний успех артели и каждого ее члена заслужен упорной борьбой и работой. Александр Иванович понимал это. А все же этот успех, это счастье жить искусством, казались ему такой же неожиданностью, как пойманная плотвичка.

В двадцатом году мстерские строчей, столяры, огородники и бывшие иконописцы объединились в союзе Рабис. Нашлась в нем работа и Александру Ивановичу. Был инструктором по росписи деревянных поделок. Выбрали в правление. Через полгода вместе с другими ответственными работниками союза поехал на продовольственную рабо-

ту в Сибирь. Хлеб все еще был главным для страны, измученной тифом, блокадой, фронтами.

Александр Иванович боролся за хлеб для страны и революции.

Ко времени возвращения Брягина из Сибири в Мстеру, живописно-столярно-строчевой союз распался. А рисовать хотелось...

С Котягиным и Куликовым сколачивал артель древнерусской живописи. Начинаясь 1923 год. Работать приходилось много. Часто ездил в Вязники. Ходил по фабрикам, собирая заказы. Вернувшись домой, заполнял конторские книги. Творил краски. Писал. Дела шли плохо. Артель начала торговать игрушками. Александр Иванович хотел не торговать, а рисовать. Опять поехал по музеям, по городам...

Чуть-чуть дрогнула пробка поплавка. Тянуть или подождать? Но больше не клевало. А солнце ушло за куст. Тень на воде выросла. На том берегу сажались в лодку. Белели кофточки. Рокотала гитара. Звуки шли по воде, мягкие и гулкие.

Да, всему свое время. Александр Иванович рос тихим и несмелым, но и его не обошла любовь. В Вологде встретился с Анной Никифоровной. В мае 1931 года приехал с женой в белую от черемухи Мстеру искать вместе с артелью путь в искусство.

...Тихо струится Мстерка.

В сумерки Александр Иванович с удочками и ведерком возвращается домой. На востоке бесшумно вспыхивают голубые зарницы, словно кто-то пробует зажечь отсыревшую спичку. Справа на горе смутно белеют стены монастырского кремля. Александру Ивановичу хочется перевести все это в краски, в их музыку. Его томит желание показать людям, как радостна и прекрасна земля, как достойна она такой же прекрасной и радостной жизни. Он думает о своей композиции «Путь к социализму».

Брягин лиричен в своей живописи, как лиричен в жизни. Сочетания красок на его миниатюрах похожи на стройные созвучия.

Если в его человеческом облике чувствуется целомудренная апрельская нежность, то в своем искусстве он — цветоносный июнь, — так тепел и неистощимо богат оттенками его художественный спектр.

За какой-то особенный блеск живописи, за смелость рисунка искусствоведы называют его Брюлловым миниатюры. Рисует ли Брягин «Сказку о царе Салтане», вдохновляется ли «Железным потоком», или изображает «Путь к Октябрю» — сцены гражданской войны с портретом Сталина в середине — во все он вносит артистичность зрелого мастера.

Брягин — определившийся художник. Глава школы. Имеет последователей и учеников. Но он — искатель, новатор. И бывали такие случаи. Александр Иванович почти закончил вещь, но все еще недоволен ею. Он твердит:

— Не то... Не так...

Думает. Всматривается во что-то, видимое только ему. И вдруг начинает все переделывать заново.

У Брягина постоянно возникают новые планы. Многие ждут своего осуществления месяцами.

Александр Иванович затеял нарисовать на крышке пудреницы миниатюру «Танец». В замысле заключался маленький композиционный фокус.

Фигуры танцоров художник хотел разместить по окружности крышки. Если вращать коробочку вокруг ее центра, то вместе с коробочкой завертятся бы, пошли бы по кругу и нарисованные танцоры.

— Давно собираюсь написать такую штуку, да вот все некогда...

А вернувшись с крымского курорта, Брягин говорил:

— Вот после Анапы задумал новую вещицу. Чувствую, что по краскам будет что-то интересное...

Нужно было изобразить вечернее море, вырезанные на его густой синеве очертания белого дома, группу людей в лучах фонаря.

— Прошлой ночью не спалось. Все думал, как написать, — рассказывал Александр Иванович, светясь задумчивой улыбкой: — у меня часто так-то бывает. И до того ясно представляешь себе картину, что хоть бери карандаш и зарисовывай...

Иконописец-ремесленник не ведал вдохновенных бессонниц. Работа по стандарту в мастерской хозяина-эксплуататора подавляла в нем всякий творческий порыв, всякое проявление самостоятельности. Для человека с талантом это было мучительно. Недаром Брягин еще задолго до прекращения иконописи хотел бежать из иконописцев в аптекарские ученики.

Для того чтобы получить право на творческие волнения, иконописцу Брягину понадобилось взволноваться великими волнениями революции и вместе с нею пойти против того мира, частицей которого была хозяйская иконописная мастерская.

В ночных бессонницах и дневных сновидениях слагает художник Брягин свои симфонии в красках, полные глубокого лирического звучания.

ГОЛОСА МИРА

I

В те дни, когда Брягин начал свою композицию, Котягин был в отпуске. В артель приходил только за газетами и журналами.

Июль начался грозами и ливнями.

В ненастье Александр Федорович сидел за чтением, или пробовал недавно полученный из Москвы радиоаппарат. До этого Александр Федорович обходился самодельным четырехламповиком, но он уже не удовлетворял понимавшего толк в радиотехнике Котягина. Новый был экономичнее — требовал меньше питания. Александр Федорович вертел винтики, передвигал рычажки. Из эфира вместе с отзвуками электрических разрядов входили в дом голоса со всего света. Москва, Прага, Будапешт, Париж слали в дом народного художника лекции, фокстроты, свежие новости.

Да, мир для Александра Федоровича не ограничивался стенами его дома, артелью, селом. Самоучка, не окончивший даже мстерской иконописной школы, он хотел все знать, все понимать, охватить разумом все области жизни.

Александр Федорович был доволен: новый громкоговоритель звучал так ясно и чисто, будто лектора, певцы и музыканты сидели в соседней комнате.

Дождь мыл стекла, затененные тюлевыми занавесками. На подоконнике лежала последняя книжка «Нового мира» и «Сказание об Иоанне Грозном» Альберта Шлихтинга. Большеухий котенок, с прилипшей к нежному хребту шерсткой, карабкался с улицы в раскрытое окошко. Фыркал, отряхивался, прыгал на колени к читавшему Александру Федоровичу.

— Что озяб? Вымок?..

Большая рука прикасалась к мокрой шерсти. Котенок перевертывался на спину, кусался. Серый пух на животе чуть голубел. В круглых желто-голубых глазах чернели палочки зрачков.

Ливень стихал. Светлело за окнами. Сквозили в облаках синие прорехи.

Александр Федорович шел в поле думать и вспоминать. Заложив руки за спину, крупный и медлительный, он шагал по дороге, сбегавшей вниз к речке Таре. Впереди

лежал холмистый простор, комьями снега белели на луговине гуси. За Кусуновской мельницей синел лес — ужинные места. Правее за долиной, по которой течет Тара, на пригорке раскинулись поля, белела колокольня села Акиншина.

Когда человек один, он думает молча. Когда у человека есть спутник, он думает вслух.

Александр Федорович сидел на пеньке и курил. У ног его зеленым воском лоснился брусничник, краснели сережки земляники. Среди травы и цветов лежали наши удочки. Ушедшее за деревья солнце золотило вершины.

— Хорошо, — сказал Александр Федорович, — ветерок, птички поют, что может быть лучше? А несколько лет назад не верилось, что и жив буду...

И — вспомнил, как, находясь в германском плену, бежал от живодера-помещика. Скрывался по лесам и оврагам. Голод погнал тогда Александра Федоровича в лагерь военнопленных, где он жил до водворения к помещику. Недалеко от лагеря, в городке, его задержали немецкие солдаты. Начали допытываться:

— Какой команды?

Александр Федорович притворился непонимающим, отвечал по-польски:

— Не разумю.

Глядя на грязную, изношенную одежду пленного, солдаты дивились:

— Какие эти русские — идиоты! За несколько лет плена не сумел научиться языку страны — вот осел!..

Александр Федорович на нелестные прозвища не обиделся. Он радовался:

— Поверили!

Ему скомандовали: *Nach Lager! Zurück, zurück!*¹

И привели в лагерь к землякам.

¹ В лагерь! Назад!

Случай, о котором Александр Федорович вспомнил в лесу, был только дополнением к тому, что мы слышали от него раньше.

Бывают минуты, когда человек вдруг как-то раскрывается, словно озарится каким-то светом, — и тогда окружающие с удивлением видят, что он гораздо глубже и значительнее, чем казался.

Мы знали Котягина очень начитанным, много видевшим, талантливым самоучкой. О широте его интересов можно было судить по его домашней библиотеке, которая постоянно пополняется новинками, и по тому, что он собирает и хранит мастерскую старину. В его манере держать себя было скромное достоинство человека, знающего себе цену.

Но в этот вечер Александр Федорович скинул парадный костюм обычной сдержанности. Может быть, потому что в доме все располагало к воспоминаниям, к раздумью. В комнатах сам собою держался тот холодноватый порядок, который бывает в бездетных семьях. Глянцевитые фикусы, экзотический цветок граммофонной трубы, диван в чехле, альбомы с открытками — все было на месте, от всего веяло прочной домовитостью и устоявшейся тишиной. Здесь единственным маленьким существом был котенок с круглыми, как будто удивленными глазами, игравший сейчас на полу бумажным шариком.

Александр Федорович сидел за столом, покрытым суровой скатертью, большой, массивный, как ожившая статуя.

Он начал с того, что показал фотографию — немцы пашут на русских пленных.

— Вывез из Германии, — сдержанным баском сказал Александр Федорович. И глубоко вздохнул. — Да, всего натерпелись!..

Моложавая и легкая, Евгения Матвеевна Котягина, не

раз уже слышавшая рассказ мужа, то входила в комнату, то выходила. Ее небольшие тонкие руки все время находили себе дело: прибирали, поливали цветы, вязали кружево.

...Осенью 1914 года, как только началась война, иконописца Котягина одели в солдатскую шинель и посадили в окопы под огонь. Вдали кто-то откупоривал огромные бутылки. Потом раздавался нарастающий визг и грохот разрыва. Сначала было страшно, но так как снаряды не причиняли вреда, то стало даже как-то весело.

Один из снарядов изломал окопы. Котягин, как в погребке, сидел по пояс в земле и нажимал спуск винтовки. Вдруг закричали:

— Обходят! Спасайся, кто может!..

Освободив ноги, Котягин выбрался из окопа наверх. Тишина. Голубое небо. Теленок пасется возле жита. Солнце блестит в заводине. Никого нет. Но вот из-за пригорка показались два немца. Один — рослый, толстый, краснолицый. Другой — помельче, пониже. Котягин бросил винтовку и поднял руки кверху. Немцы подбежали к нему вплотную. Толстый с выпученными глазами, то наставляя на Котягина свой штык-нож, то совал ему в руки поднятую с земли винтовку, предлагая сразиться. Котягин винтовку не брал. Другой немецкий солдат, показывая руками в стороны, все спрашивал его о чем-то. Котягин разобрал слово: «штык». Много позднее, в плену, он понял, что его спрашивали:

— Сколько вас штук?

— Не разумю, — твердил он, держа руки над головой. Подошел офицер. Крикнул: — Halt!¹

Солдаты вытянулись. Офицер что-то сказал. Толстый перешиб о колено винтовку Котягина и закинул ее в заводину. Раздалась команда:

¹ — Стой!

— Марш!

Котягина повели. Раскинув руки, лежал убитый товарищ по роте.

Толпу пленных на ночь заперли в сарай. Следующую ночь они провели на поляне под русскими снарядами. В наглухо закупоренных теплушках их привезли в маленький немецкий городок...

Александр Федорович рассказывал руками, плечами, лицом, сжимал кулаки. Он заново переживал прошлое. Оттого рассказ показался нам почти таким же художественным произведением, как и котягинские миниатюры.

Прежде чем разместить пленных по баракам, их заставили выстроиться в ряды по четыре человека. Усатый унтер в каске крикнул на ломаном русском и немецком языке: — Чичире! Zu vier!¹

Погнали в баню. Обращались как со скотиной. Немецкий солдат, зацепив Котягина клюкой за шею, вытащил его из рядов. Машинкой для стрижки овец с него сняли волосы. Затем — две минуты под душем. Два часа на сквозняке без одежды — она дезинфицировалась в котле, наполненном паром.

Потянулись дни голода, издевательств, непосильного труда. Не раз Александр Федорович глядел в глаза смерти. Однажды часовой чуть не застрелил его за отказ выйти на работу. Но самое страшное Александр Федорович видел в Курляндии, где пленные рыли укрепления. Случилось так, что немцам неожиданно пришлось отступить. В спешке хлеб пленным выдали буханками, не разделив на порции. Получившие хлеб затаили его от остальных в вещевых мешках. В дороге изголодавшиеся люди глядели друг на друга, как волки. Задние ощупывали мешки передних. Если находили хлеб, начиналась свалка. Мешок срывали, выворачивали. Хлеб летел на землю. Люди бро-

¹ — По-четверо.

сались на хлеб. Конвой бил их прикладами. Люди не чувствовали ударов. Десятки рук в одну минуту разрывали буханку на куски, на крохи.

— Да, этого не забыть, — сказал Александр Федорович: — это до самой смерти будешь помнить.

Пять с половиной лет пробыл он в плену. Вернувшись осенью 1920 года на свою московскую квартиру, узнал, что жена вышла за другого. Поехал на родину, во Мстеру.

В этот вечер мы по-новому почувствовали Александра Федоровича и полюбили в нем много испытавшего человека.

«Только в муках рождаются миры и без мук не проходит ни рождение ребенка, ни рождение звезды» (О. Уайльд). Не проходит без потрясений и рождение человеческого сознания.

Котягин был живой частицей людских масс, мчавшихся через бури войны и революции. И, может быть, именно эти переживания углубили и определили сознание художника. Может быть, они вызвали в нем те новые мысли и чувства, которые он сейчас выражает в красках своих миниатюр.

III

А довоенный путь Александра Федоровича был обычным путем мстерского иконописца.

И дед и отец писали иконы, расписывали церкви. Мстерские кушцы оставляли своим детям капиталы. Федор Котягин был беден и мог передать сыну в наследство только ремесло «богомаза». Ремесло не было прибыльным. В мастерской мстерского иконописца Цепкова пятнадцатилетний Александр Котягин получал сорок рублей в год. От Цепкова пошел к другим хозяевам. Перевидал сотни старинных икон. Научился удивляться тому замечательному

искусству, которое родилось столетия назад под кистью Рублевых и Дионисиев. Изучил новгородское, строгановское письмо. Усвоил технику реставрации.

Летним вечером Александр Федорович передавал свое впечатление от прочитанного в «Правде» отзыва Ромэн Роллана о рублевской «Троице». Говорил с гордостью:

— Вот ведь, не раскрашенная фотография ему понравилась, не какой-нибудь нос башмаком, а Рублев — строгость линий, гармония колорита, стройность композиций!..

Мастеру было приятно, что побывавший в Третьяковской галерее друг советской страны похвалил шедевр древнерусской живописи, от которой шли народные художники современной Мстеры, в том числе и он, Котягин.

Но не одни иконы замечал на своем пути Александр Федорович. Видел он много людей, сел, городов. Жил по разным местам России. Даже за границей побывал: расписывал старообрядческую церковь в австрийском селе Климоуцах. И никак не предчувствовал, что через годы снова придется жить за границей, но уж при других условиях...

В революцию, как и Брягин, работал в Сибири продовольственным инспектором. Вместе с Брягиным устраивал во Мстере художественную артель.

Александр Федорович занимается с прикрепленными к нему учениками артельной профшколы.

И это под его руководством рисовали летом восемь студентов, посланных Московским художественно-промышленным техникумом усвоить стиль мстерской миниатюрной живописи. Александр Федорович радовался успехам новых своих учеников. Надеялся вырастить из них миниатюристов. И был возмущен, когда ученики не оправдали надежд:

— Не хотят быть художниками! Говорят: «Мы будем инструкторами в артелях». Это что же такое? А ведь есть талантливые!..

Для него звание художника — одно из почетнейших. Сам он — художник своеобразной манеры и крепкого мастерства.

IV

„Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет“.

А. Блок.

В августе падают с яблонь твердые, яркоокрашенные плоды. Они лежат в траве, такие завершенные в своих очертаниях и расцветке. В них нашла предельное выражение та сила, которая выгоняла почку, разворачивала лепестки цветка, оплодотворяла пестик и растила тело яблока.

С вызревшими плодами хочется сравнивать и миниатюры Котягина, яркие по краскам и четкие по рисунку. Что-то очень цельное чувствуется в них, как целен и колоритен облик самого мастера. Одетый в темносиний халат, в роговых очках на тонком носу, он терпеливо сидит за столом мастерской. Работает. Спокойная, уверенная в себе сила, которая чувствуется в мастере, присутствует и в его произведениях. Он «избегает как тематической сложности, так и бездумности, бессюжетности, чисто декоративных мотивов».

Иконописец изображал витязя в золотом венце, разящего копьем дракона. Александр Федорович Котягин взял у витязя коня, запряг его в телегу и заставил возить материалы для починки дороги. В помощь коню и человеку он прибавил машину, которой не было на иконе. Прибавил пчелиные соты корпусов, вставших на горизонте. Со всем мало иконописного и в людях, изображенных на миниатюре «Дорожное строительство».

Котягин одевает своими сильными ясными тонами возмужалого августа и пушкинскую сказку, и народную былинку, и такие темы, как «Зажиточная жизнь колхозника». На миниатюре «Зажиточная жизнь колхозника» написаны,

осыпанные красными плодами, деревья, игрушечные домики пасеки, упитанные животные на лужайке.

Но громче и сильнее всего краски Котягина прозвучали в его «Героике Советского союза».

РАССЫПАННАЯ КАРТИНА

I

Мы пришли к Василию Никифоровичу Овчинникову уговариваться насчет совместной поездки в Вязники на ярмарку.

Набережная тонула в розовой вечерней мгле. Далекая заря перекликалась с рекой и река отвечала ей теплыми ответами. Под горой у мельницы еще сидели рыболовы с удочками.

Василий Никифорович только что вернулся из бани. Он сидел за столом, размытый, порозовевший, и пил чай со свежей земляникой. Его сухая, небольшая, почти женская, рука держала блюдо. Мухи липли к мелко наколотому сахару на столе. В открытое окно шла прохлада вечера.

Анна Тимофеевна стригла ножницами ногти загорелому, тонколицему Жене. Стесняясь чужих, мальчик все вертелся, переступал с ноги на ногу. Ноги были тонки, черны от пыли и загара.

— Стой спокойно, — крикнула Анна Тимофеевна. — обрежу вот палец!

И верно: обрезала до крови. Василий Никифорович достал из шкафа пузырек с иодом и смазал порез. По лицу мальчика было видно, что ему очень больно, но он молчал, выдержал «операцию»...

Анна Тимофеевна только что вернулась из леса — со всеми детьми ходила за ягодами. Она любила лес. Назы-

вала себя «лесной бабушкой». Когда жила у отца приносила домой зайчат, диких утят. Пробовала приручать. Но утята хирели, а зайцы убежали в окошко.

— Покушайте землянички: сладкая...

И Анна Тимофеевна поставила на стол тарелку с темнокрасными душистыми ягодами.

— Так, значит, завтра едем в Вязники? — спросил проясневший лицом Василий Никифорович, потянувшись к ягодам. — Прокатимся по Клязьме на пароходе. Я утром забегу за вами...

Недаром выбрали художника Василия Никифоровича ботубом. Не зря вовлечен он в другие общественные дела. В характере его заложена неутомимая потребность двигаться, прикасаться к жизни вплотную. О Василии Никифоровиче говорят: «Все бы он шел да ехал»...

Он — член поселкового совета, народный заседатель. Он нанимает пастухов, заботится о приезжающих в артель гостях, и при этом успевает перевыполнять план в артели как художник.

Многообразны обязанности, добровольно принятые им на себя. Они заставляют его, непривычного к канцелярскому слогу, потеть в поисках слов над составлением какой-нибудь бумажки, негодовать на артельных собраниях по поводу замеченных не порядков, говорить людям резкости. Подгоняемый общественными и личными заботами, Василий Никифорович мечется по улицам Мстеры, бежит на почту, в поселковый совет, в больницу, в Вязники за двадцать километров. Он легко и щедро отдает себя жизни в живописи и в тех общественных хлопотах, которые помогают ему чувствовать себя нужным артели, Мстеры, а значит, и стране.

— Сегодня назначили меня в секцию по благоустройству, — сказал Василий Никифорович, наливая себе чай. — Придется, видно, поработать, хоть и некогда бы: картину надо писать. Брягин вон уж начал...

— Отказался бы, — посоветовала Анна Тимофеевна: — для людей делаешь, а свое дело стоит. И так меньше других заработал за прошлый год. Ведь, не заплатят тебе в совете?

— Понятно не заплатят, — ответил Василий Никифорович: — общественную работу мы должны помимо нести (он выговорил: «понимо»). Нельзя от нее отказываться... Кто-то должен ее делать!..

Анна Тимофеевна не спорила. Взяв дойник, она начала процеживать парное молоко. Василий Никифорович, наблюдая за спокойными движениями жены, говорил:

— Намедни с коровой беда какая стряслась: чуть-чуть не удушилась.

Поставил блюдо с чаем на стол и рассказал о случае с коровой. Когда утром вышли сгонять корову в стадо, то увидали, что она застряла головой в узком окошечке хлева. Слив глаза закатились. Корова хрипела. Что делать? Пробовали вытащить голову за рога. Ничего не вышло. Пришлось пропиливать окошко.

— Такая непутевая скотина, — закончил Василий Никифорович: — все время с ней истории. А доит хорошо и молоко густое.

Мы пошли домой, а Василий Никифорович полез спать на «сушило», на деревянный настил под крышей двора, где лежали запасы сена. Может быть, лежа на «сушиле», он думал о своей будущей композиции «Праздник урожая». И, наверно, мысли о картине переплетались у него с мыслями о корове, покосе, землянике. О близком и повседневном. Виделась ему зеленая, напоенная речной сыростью, Набережная улица с черной дорогой, с мягкой листвой, с сильными и обильными росами на сочной траве. Ранними утрами, когда Мстерка так тиха и туманна, словно в ней затаились сны ночи, идет по улице пастух и трубит в медный горн. По вечерам все село собирается на Набережной встречать переходящее через розовую реку стадо.

По брюхо в воде идут коровы, а у телят только головы видны.

В обход, по мосту, бегут овцы и козы. Тогда улица полна мычанья, блеянья, пыли.

Представлялся Василию Никифоровичу его сад, стол под яблоней, на котором в жаркие дни семья пьет чай, скамья с подгнившими ножками, осыпанная семенами одуванчика и теми крохотными живыми существами, что в траве или на листе совершенно незаметны взгляду.

И садовая сирень, и беспутная корова, и кролики Жени на дворе, просовывающие сквозь прутья клеток свои мягкие мордочки, и заречные луга с цветами, — все, верно, сливалось в думках Василия Никифоровича в его «Праздник урожая», в праздник ярких и радостных красок.

Картина была как бы рассыпана на кусочки по саду, по двору, по улице, в пойме. И Василий Никифорович мысленно собирал эти кусочки в одно целое.

II

В руках — широкая малярная кисть. Высокий, худой, с большим лбом, который еще увеличивала лысина, с бородой, вернее половиной ее, — другую вырвали в драке. Таков портрет Никифора Овчинникова.

Разница между кистью маляра и тонкой, как острие иглы, кисточкой миниатюриста — большая. Василий Никифорович Овчинников знает это по собственному опыту. Первая кисть, которую ему пришлось держать в руках, была малярной. Восьмилетним мальчиком он должен был помогать отцу.

Когда подросток, получил другую кисть, поменьше. Сделался иконописцем. Жил с семьей в Москве. Ценился хозяевами как хороший реставратор и знаток старых икон.

Ту тонкую кисточку, которой Василий Никифорович Овчинников работает сейчас, дала ему революция. Но прежде, чем получить ее, мастер должен был пройти суровую школу жизни. Выучился в ткачи. Жил в Вязниках, работал на фабрике. Начал кашлять кровью. Перешел на мастерскую клееночную. Побывал на курорте. Вылечился. Поступил в художественную артель, стал миниатюристом.

Иконописец Овчинников рисовал святых. Знал стили. Но его работа не была искусством, так как мастер был связан по рукам и ногам требованиями церкви. Не позволялось иконописцу удаляться от «подлинников». А в «подлинниках» говорилось: «Сей святой помогает от кумохи, сиречь трясовицы. Изображать его надлежит так...». И дальше следовало описание. Великомученика Пантелеймона полагалось писать в красно-зеленом одеянии с ящичком в руках, Георгия — на коне и с копьём.

Вступив в художественную артель, Овчинников написал «Дом отдыха», «Бахчисарайский фонтан», «Бурлаков», «У колодца». Написал много других миниатюр на свои собственные темы, не придерживаясь никаких «подлинников». И эта его работа стала искусством.

Вместе с Брягиным, Котягиным и другими мастерами, Овчинников идет не только от иконописных традиций, но и от живых впечатлений. Рисуя новые свои картинки, он в сущности рассказывает о том, что видит, знает, любит, чем живет.

Дом Овчинникова смотрит окнами в пойму. В июле пойма покрывается стогами, подводами, народом. И Василий Никифорович изображает «Колхоз на покосе».

Он — цветовод и цветолюб. Вместе с женой и дочерьми ухаживает за мальвами и настурциями, выращивает белые пионы и маргаритки. Недаром и старшей своей дочери дал имя цветка.

Краски сада кисточка Овчинникова переносит на лакированную пластинку. У него — тонкое чувство колорита.

Кисточка рассказывает о любви мастера к цветам земли, ко всему прекрасному и радостному.

Цветы в саду и на лугу проходят, а краски на лаковой коробочке остаются все такими же свежими и яркими, возвещая о расцвете самобытного народного искусства, корни которого уходят в глубину столетий.

III

Луговые заводины смотрят в небо, как глаза земли. В них отражается золотистая синева и тают снежные комья облаков. Трава в лугах так густа, что в нее страшно поставить ногу, точно, вступив, разрушишь целый живой мир. В траве жужжат и копошатся насекомые, а местами в ней спрятаны кукольные корзиночки птичьих гнезд с голубоватыми яйцами.

Около заводин собрались гости — художники с женами и детьми смотреть, как «бродят» рыбу. Загоревшие от лугового солнца женщины в своих пестрых сарафанах и ярких повязках были похожи на огромных разноцветных бабочек.

Все затеял Василий Никифорович Овчинников, горевший желанием показать горожанам богатства поймы и ее вод. Бродильщиками были он сам и его брат, Николай Никифорович, директор мастерской образцовой школы. Рыболовы оделись, как огородные пугала, — в кацавейки, из которых клочьями торчала вата. На головах — панамы. «Спецодежда» рыболовов была для зрителей неиссякаемым источником веселья. Художник Модоров шутил с Николаем Никифоровичем насчет директоров, — раньше-де, к директору не подступишься, а теперь вон они какие стали негордые — сами рыбу бродят.

— Ладно, просмеетесь, — отозвался Николай Никифорович и полез в воду. Он был очень похож на брата: тоже сухой, большелобый, только в плечах пошире.

Рыболовы с бреднем тяжело шли по вязкому дну заводины. Раздвигали грудью водоросли. С трудом вытянули бредень на берег. Матня, как живая, шевелилась от трепетавшей рыбы. Все обступили рыболовов.

В корзину падали золотые караси. Двенадцатилетний Женя Овчинников надел корзинку на худенькую руку и с гордостью понес ее по берегу, возбуждая зависть в остальных детях.

Улов был удачен.

С братьев текло. Ветерок перебирал траву. Пели в осоке лягушки. Скрипуче кричали в лугах гуси.

— А ну, еще раз...

Братья снова вошли в воду. Шевеля водяные лилии и круглые глянцевиные листья, насили тащили бредень. Медленно вытягивали его из воды. Все наперегонки бросились по кочкам смотреть на улов. Увидали целый воз тины и большую зеленую жабу. Побледневшим лицом и редкими черными усами, сквозь которые просвечивала смуглая кожа, Василий Никифорович напоминал сейчас деревянные скульптуры музея. С обвисшей кацавейки бежала вода. Но Василий Никифорович бодрился.

— Ничего, — сказал он, стуча зубами: — воду теперь замутили. В мутной воде караси лучше ловятся.

Но счастье изменило. Пошли в другую заводину. По грудь в воде вели намокший бредень. И вдруг поплыли.

— Глубоко? — спросили с берега.

— Яма!..

Плыть в намокшей одежде было трудно. Бредень перевернулся. Опять ничего не поймали. Впрочем, рыбы в корзине набралось порядочно.

— На уху все равно хватит, — сказал Николай Никифорович, взвесив корзину в руке.

Решив, что всей рыбы не выловишь, рыболовы и гости двинулись домой. Рыболовы несли на плечах свернутый мокрый бредень. Чуя близость вечера, сильнее и горче

запахли травы. Несколько широких лучей упало из-за тучи с золотым краем.

— Как на иконе «преображения», — заметил кто-то из художников.

— Будет вам об иконах, давайте лучше решим, где уху варить, — сказали женщины. — В печке или на костре?

— И решать нечего, — обернулся Василий Никифорович: — все давно решено, вам только кушать...

Поздно вечером на берегу Мстерки пылал костер. Красной вьюгой летели искры в теплую бархатную темноту. На траве дико плясали лохматые тени. Переодевшийся в сухое, Василий Никифорович угощал всех горячей, как огонь, ухой. Мелкие, словно пыль, мошки летели в глаза, гибли в тарелках, — дали-таки себя знать и в этом году. Мошки сажей набивались в нос и в рот, будто где-то в лугах коптила огромная керосинка.

Из-за туч вынырнула зеленая луна, облив луга, кусты над рекой, Мстеру на том берегу. Озаренные двойным светом луны и костра, люди были похожи на кочевников. Пили чай. Дети ели вместе сладкие пироги и огурцы.

Взрослые вспоминали проказы молодости, — как осенями ходили к знакомым девушкам на «капустники» рубить капусту, как в водополье катались на лодках с фонариками, катая возлюбленных. Зажмурясь, Василий Никифорович высоким тенором запел любимую свою песню:

Что стоишь, качаясь,
Горькая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?

Потом, как будто отгоняя воспоминания, тряхнул головой. Бодро крикнул художнику Голубеву, который что-то устраивал в темноте:

— Когда же фейверк пускать будем?

— Сейчас зажигаю...

Огненная дуга с шипением прорезала темноту. Под восторженные крики детей ракета лопнула и рассыпалась разноцветными брызгами. За первой — взвилась вторая, потом — третья.

Догоравший костер, закоптелый котел с ухой, люди, сидевшие и лежавшие на траве, — все было словно картинка на папье-маше. А взлетавшие в небо огни обводили картинку золотым орнаментом.

УДАКИ

Удаками во Мстере зовут охотников ловить рыбу удочкой. Василий Никифорович Овчинников — не удак, хоть и вырос у воды. Непоседливый и беспокойный, он не понимает, как можно часами смотреть на поплавок. Ловит только сетью.

Должно быть, удаком, как и поэтом, нужно родиться. До сих пор во Мстере помнят Федю Чорта — удака, который всю жизнь провел возле воды и умер семидесяти слишком лет от реду. Кличку свою Федя носил недаром. Был он при высоком росте непомерно широк, космат. Клязьма имела над ним неодолимую власть. Как только наступала весна, Федя нанимался в баканщики и жил на реке до морозов. Любимым его занятием было уженье. Любимой позой — лежачая.

Ленив он был на редкость. Когда к лежавшему враспяжку на берегу Феде подходил человек, старик говорил густым басом:

— Вот хорошо, что ты пришел. Дай-ка напиться.

— Чудак! У воды лежишь, а пить просишь, — дивился пришедший.

— Экий ты гораздый языком-то звонить, — сердился Федя Чорт: — лень, что-ли, тебе воды подать?

Однажды Федя, похлебав ухи, лежал у костра. Огонь

припекал, а отодвинуться не хотелось. Одежда на Феде задымилась. «Как бы не сгореть», — забеспокоился он и продолжал лежать. Запахло гарью. Что-то ужалило правый бок.

— Мать честная, горю!

Федя вскочил и в глеющей одежде бросился в реку. Воду он ощущал родной стихией. От воды и грязи у Феде растрескалась кожа рук. Он и лечился на свой лад: призывал к рукам живых лягушек.

— Больно хорошо холодят...

Молва сделала Федю Чорта чем-то вроде князьменского водяного. Теперь не стало таких удаков. Но почти каждый из мстерцев носит в себе зародыши той же страсти, какая жила в Феде.

Есть во Мстере удаки, для которых ужение — промысел. Есть поэты ужения. Такие идут на реку не столько за рыбой, сколько ради связанных с ужением переживаний.

Идут и для того, чтобы встретить костром ночь, пить пропахший дымом настой дикой смородины, прислушиваться к плеску щук и журчанью лягушек.

Если к этим маленьким радостям прибавляется хороший улов, удак чувствует себя совсем счастливым. А не поймав ничего, возвращается домой задворками, окольными тропинками, чтобы избежать насмешливых улыбок и традиционного вопроса:

— А рыба где?

Когда удаки сойдутся вместе, каких только не расскажут они историй! О женщине, которая, переезжая на лодке Клязьму, изловила сома в три пуда весом — был тот сом оглушен винтом парохода. О пойманных и непоиманных щуках...

Живописец Николай Николаевич Клыков, сын прославленного мастера, заикаясь и жестикулируя, с напряженным лицом, расскажет, как недавно он вытащил в лапушнике на Клязьме щуку в десять фунтов.

— П-понимаете, б-берег от-от-весный, я — над самой водой, песок из-под ног сыпется. Осторожно подвожу щуку к берегу, а она вдруг ка-ак хватит хвостом! От неожиданности я чуть в Клязьму не по-по-полетел...

А грунтовщик Яков Федорович Рачков, черными от сажи руками поглаживая редкую, монгольскую свою бороду, скромно скажет:

— Я в позапрошлом лето семь подлещиков выудил. А нынче все дожди, холодно, не берет рыба.

Есть у каждого удака свои любимые места. Одни идут на узкую тихую Тару, что синим пояском упала в луга, в ольшанник.

Тара понравилась бы Аксакову. Ее любит Александр Федорович Котягин, как любит поэзию «Записок об ужении рыбы».

— Имеется у меня эта книга. Оказывается, как прекрасно можно написать о рыбной ловле — не оторвешься!..

Александр Иванович Брягин ходит удить на Мстерку. Другие — на Клязьму, на Старицу. Хорошо, не торопясь, шагать лугами навстречу душистому ветерку. На высоких стеблях, пересвистываясь, качаются крохотные серые птички с желтыми грудками.

Трели жаворонков стоят в нагретом воздухе. Жужжат пчелы.

Может быть, в такие минуты всего чаще и приходят к художникам мотивы и образы новых картин. И, может быть, краски росписей на шкатулках есть, в сущности, краски вот этих цветущих лугов, заводин, кустарников?

Хорошо в пойме и вечером, когда чайник фыркает на коостре, заливая красные угли. Чуть виднеются поплавки на потемневшей воде.

Как оглушительно плещутся в этот час щуки. И как похожа вода Клязьмы на ту, какую пишет на своих миниатюрах старейший художник Мстеры, прекраснейший мастер Николай Прокофьевич Клыкков!

СТАРЫЙ МАСТЕР

Николай Прокофьевич Клыков по старости не ходит в артель, — работает на дому.

В конце Мстеры, там, где она смыкается с колховным селом Татаровым-Барским, много зелени. Раскинулись на задворках вишнево-яблоневые сады и широкие огороды. В палисадниках топырятся кусты сирени и черемухи. Среди густой темной листвы присел низкий кирпичный дом с четырьмя окнами по фасаду — один из тех домов, куда не смеет войти летний зной.

Здесь, в нежном и легком женском мире, и живет старый мастер.

Отпечаток женской домовитости и вкуса лежит на всем, что находится в доме.

Следы женской заботы увидали мы и на внешности самого Николая Прокофьевича, встретившего нас в прихожей: такой он был прибранный, розовый, в черной тужурке и новой ластиковой рубашке, тоже черной. Чувствовалось, что ласковые руки холят, берегут и его. Легкие волосы пухом одуванчика белели над высоким лбом. Старческие мутноглубые глаза с какими-то наростами на веках светились приветом. Эти глаза еще настолько зорки, что работы старого мастера поражают ювелирной отделкой мельчайших своих подробностей. Станные вещи творятся с глазами Николая Прокофьевича. Зрение начало изменять ему с юности. Первые очки надел восемнадцати лет. И рассказывают во Мстере: под старость Николай Прокофьевич совсем было стал слепнуть, да пришлось работать мелочь — и старик «выгляделся», окреп глазами.

Торжественный, по-старинному истовый, Николай Прокофьевич, стоя в прихожей, величал всех по имени-отчеству и приглашал дорогих гостей проходить вперед.

В комнате с окнами на красную сторону было светло и очень чисто. На подоконниках стояли плошки с геранью и

дымился зеленым облачком тот мелкохвойный цветок, который называют мечтой. Везде белели вышитые занавески, салфетки, дорожки.

Две дочери Николая Прокофьевича слынут лучшими по Мстере рукодельницами. Старшую, Анну Николаевну, мы застали за работой. Уже немолодая, с серыми глазами, в темном строгом платье, она вышивала, склонив над пальцами гладко причесанную голову. Ее сестра, такая же сероглазая, но в белом платье и пышных коротких волосах, расставляла на столе домашние печенья, вазочки с вареньем.

Нас усадили, начали угощать. И в угощение вносил Николай Прокофьевич свое степенное радушие. Упрашивал есть больше, пить слаще. Вел беседу об артели, о Мстере.

На стенах висели два ковра, образчики первых мстерских работ. Красавица с известково-голубым лицом и венком на распущенных волосах мечтательно глядела вдаль. Подпись под картиной гласила: «Весной». На другой — был нарисован светлый пруд в желтых кувшинках, лодка с людьми. Да, вот с чего пришлось начинать работу. Это и задержало Мстеру. Кабы взяться ей в одно время с Палехом за миниатюру, пожалуй, и Мстеру теперь прославляли бы так же, как Палех...

— И нас бы за горы заносили... да!

И вздохнул Николай Прокофьевич:

— Да, да!..

Как девушка на картине, глядел своими утомленными слезящимися глазами куда-то вдаль, и бородавки возле глаз проступали, будто наросты на коре старой березы.

— Вы длинную жизнь прожили, Николай Прокофьевич, расскажите чтонибудь.

— Да ведь жизнь иконописца — известная. Больше находились в Москве. Летом приедешь домой недели на две — и опять назад. Плохо прошло время.

Разговаривая, Николай Прокофьевич делал какой-то

совершенно иконописный жест: складывал руки у самого лица, у белой подстриженной бородки в пригоршню и затем разводил их в стороны. Впрочем, больше ничего иконного в нем не было.

— Есть у меня биография моей жизни. Еще Анатолий Васильевич Бакушинский просил написать, вот я и приготовил.

Николай Прокофьевич сходил в соседнюю комнату и вернулся с бумажкой. Была она кругом мелко исписана карандашом. Мы прочли:

«Биография жизни НПК. Родился в с. Мстере 1861 года, воспитывался при отце, грамоте учился в сельской школе. После учения грамоте начал учиться иконописи у своего отца дома. Отец мой — пролетариат, работал на разные мастерские иконописи»...

Дальше шло перечисление хозяев — иконников, у которых, сделавшись мастером, работал Николай Прокофьевич в Москве и Мстере. Был преподавателем иконописи в Строгановском училище и Троице-Сергиевской лавре. Реставратором в музеях.

...«Потом иконопись аннулировалась. Я был приглашен в живописную артель, записался в члены. И дали мне несколько коробочек для росписи. Я расписал, артели понравилось и я начал расписывать. С того времени и до сих пор работаю на артель.

Вот моя вся биография. Что мы упомянули, все описали».

Да, только под старость узнал Николай Прокофьевич наслаждение свободным творчеством. Он работает жадно и много, словно торопясь полнее, ярче, сильнее выразить себя в краске и линии, словно желая вознаградить себя за годы подневольной работы на хозяев, сковывавшей в нем художника.

Труд стал для него такой же потребностью, как дыхание.

— Не могу сидеть без дела: тоска берет. Вот только мастерская плоха.

«Мастерская» до недавнего времени помещалась между русской печкой и перегородкой. Теперь художник работает в бане. Позади дома стоит потемневшая избушка. В нее и перенес свои кисточки Николай Прокофьевич. Через забор тянутся отягченные созревающими плодами сады соседей. На участке Клыкова мало деревьев: не взрастил Николай Прокофьевич сада, некогда было ему, московскому жителю, пестовать яблони и вишни.

— Плохо, плохо прошло мое время...

Но время его еще не прошло. Мастер в свои семьдесят пять лет еще бодр, свеж и прекрасен красотой здоровой деятельной старости. Он кажется нам живым олицетворением человеческой воли и энергии над природой с ее жестокими законами увядания и смерти. Он еще работает. Вот только помех у него много, ходьбы, тревоги. Сколько раз пришлось сходить в артель за плотниками, чтобы баню поправили.

Мы рассматривали последнюю работу художника. На черной пластинке были написаны деревья, лужайка, пастухи с падогами около стада, рыбаки с сетью у синего озера.

Самый старый художник Мастеры первый начал работать приемами реализма. Он даже натюр-морты писал на своих коробочках. Его излюбленные сиренево-лиловатые и сизые тона прозрачны и спокойны. В них много настроения. Они так хорошо подходят к нашим русским туманам, так передают затаенную красоту северной природы. Что-то легкое и воздушное чувствуется в клыковских красках, в его прямых, возносящихся кверху деревьях.

Он — поэт северной земли с ее неяркой весной и коротким летом. Когда он рисует «Дом отдыха», то и здесь показывает не юг, как Брягин или Овчинников, а север. Ясность и законченность присущи работам старого мастера. Есть в них своеобразная прелесть примитива. Малень-

кие человечки закидывают в озеро невод, мечут золотистые стога, бросают в борозды семя. И кажется, что линии рисунка начерчены детской рукой, а краски положены опытным и прекрасным художником.

Специалисты-искусствоведы говорят, что лиловатые, серебристоголубые и зеленые тона Клыкова идут от новгородского иконного стиля. Мы рассматривали клыковскую работу глазами неискушенных зрителей. Наши восприятия были непосредственны и просты.

Нам вспомнился лес, по которому вез нас во Мстеру артельный кучер Иван. Тарантас прыгал по корням и ухабам дороги, а справа и слева толпились пахучие деревья и старательно выводил свою четырехколенную песню соловей. Вспомнилось нам зеленоватое прозрачное небо, светящееся, как драгоценный камень, небо весеннего предутрия, когда заря с зарей сходится и где-то далеко вызывает ранняя кукушка.

Сиренево-лиловатые тона миниатюры, казалось, и пахли сиренью. Семидесятилетний человек, только в старости узнавший о том, что он — художник, теперь цвел творчеством, как майская сирень серолиловыми гроздьями.

— Да, вот пишу... Учеников обучаю, ходят ко мне четыре паренька...

Николай Прокофьевич стоял около бани, освещенный нежгучими лучами низкого солнца и сам светился белыми волосами, мутноглубыми глазами, улыбкой, как светится погожий весенний закат.

Чтобы перенять огонь догорающей свечи, от нее зажигают новые свечи. В манере Клыкова пишут и другие мастера артели. Его миниатюры копируют ученики. Творческий опыт старого художника становится достоянием молодых. Но он и сам еще полон жажды без конца растворяться в своих прозрачных тонах, выпеть в них свою душу художника.

— Без работы — скука, тоска.

ХУДОЖНИК — ПЕДАГОГ

Посетители Ивановской выставки в отделе мастерских лаков замечали работу Ивана Алексеевича Серебрякова «Пионерский лагерь». Влажно переливались под лаком алые, белые, синие, зеленые пятна; палатки, пионеры, трава, небо, вода, открытый солнцу и радости мир.

Ивану Алексеевичу — под пятьдесят, он — один из ведущих мастеров артели, но тема молодости оказалась близкой ему. Может быть, она привлекла Серебрякова потому, что он чаще других прикасается к весенним силам молодости. Иван Алексеевич преподает рисование в артельной художественной школе.

У него — темные глаза, длинные волосы артиста. Чувствуется в нем большая культурность и богатый жизненный опыт.

Работал иконописцем в Палехе. Поступил учиться в Строгановское, но по станковой живописи не пошел, а вернулся к иконописи. Жил в Москве, на Кавказе. Три года пробыл в германском плену, — умение рисовать пригодилось и здесь. Иван Алексеевич рисовал товарищей по лагерю, немцев — и уцелел, не сгинул на чужбине, как сгинули многие. Приехав в Россию, воевал против Деникина. Болел тифом. За хлеб увеличивал по деревням фотографии, писал портреты деревенских красавиц. Во времена мастерского рабиса председательствовал в столярно-вышивально-художественном объединении.

В своих последних работах Серебряков отходит от иконы гораздо дальше, чем другие мастера.

Мастерская миниатюра под его кистью приобретает совсем явственные черты станковой живописи. Такова композиция «Пионерский лагерь» и другая выставочная работа Серебрякова «На оборону страны», где всадник на скале — маршал Ворошилов, а внизу, у подножия скалы — группа красноармейцев.

Иконное здесь проскальзывает разве только в слишком тонких ножках человеческих фигур да в некоторых подробностях пейзажа. Серебряков любит «чистый свободный цвет, щедро расплескивая его по поверхности вещи, превращая его в яркую многокрасочность пышного оперения райской птицы».

Ивана Алексеевича тоже тянет к себе тихая, ольховая Тара. Превосходно отдыхается за удочками. Пред глазами — пробки поплавок, струйки, луга с гусями, с чайками. За спиной шумит листвою и хвоей, щебечет птицами, пахнет смолою подступивший к реке лес. В один из дней этого лета на плечо удившего Ивана Алексеевича прыгнула рыжая пышнохвостая белка. Тонко взвизгнула и тенью метнулась в сторону.

Должно быть, звери чувствуют к нему такое же доверие, как и дети, которых он учит рисовать.

В артельной художественной школе, где преподает Серебряков, учатся дети мастеров и колхозная молодежь. Свои, мстерские, и пришлые. Есть девушки.

Мы смотрели работы учащихся — рисунки с натуры, акварельные копии миниатюр, собственные композиции. Художник Василий Григорьевич Голубев оценивающе глядел сквозь пенсне, говорил:

— Жестко написано... Замучено... Грязь — какие-то, словно, гуашные краски... А это хорошо, совсем хорошо. Богато, декоративно...

— А то вот посмотрите, — подал заведующий учебной частью, Виктор Сергеевич Кондратьев, несколько рисунков: — тоже даровитый ученик, но с ним случилась маленькая неприятность.

— Какая?

— В краже попался.

И Виктор Сергеевич, вскинув водянистоголубые глаза, рассказал, что автор талантливых рисунков, бывший беспризорник, так полюбил рисовать, что не мог равно-

душно видеть бумагу, карандаши и краски. Каждый чистый листок хотелось ему покрыть линиями рисунка и раскрасить. Перед концом учебного года он все мечтал о том, как будет рисовать летом с натуры. Запасал бумагу. Копил карандаши. Увлечшись запасанием, украл у товарища коробку с красками. В школе был устроен общественный суд. подсудимый чистосердечно признал свою вину и обещал впредь быть честным. Ему поверили.

— Очень способный парень! Как видите, прекрасно рисует. Наверно, будет хорошим мастером.

РОДНИКИ СТИЛЯ

Григорий Тимофеевич Дмитриев, склонив над столом голую усатую голову, делал последние мазки на миниатюре «Детский сад». Дети, рассыпавшиеся по зеленой лужайке, мало походила на того младенца в золотом венце, которого писали на иконах. Иконописец Дмитриев шел от «подлинников». Миниатюрист Дмитриев — от живой действительности. Мстерские межартельные ясли и детплощадка стоят на первом месте среди детских учреждений Ивановской промстрахкассы. Дмитриев писал то, что видел, взяв от иконописи мастерство.

Как почти все мстерские мастера, Дмитриев был иконописцем-доличником, то есть писал только платье святого и пейзаж. В пейзаже Григорий Тимофеевич и тогда был искусником. Сохранилась написанная им икона «Алексей, человек божий, в пустыне». По оценке специалистов, «Пустыня» — «виртуозный, утонченный, полуфантастический пейзаж, проникнутый глубоким и лирическим чувством природы».

Может быть, когда-нибудь вопрос о связи дмитриевской иконы с современной мстерской миниатюрой будет предметом особого изучения. Но об этом вряд ли думает

скромный Григорий Тимофеевич. Сдвинув на лоб большие очки в роговой оправе, он творит золото для орнамента, растирая листочки золота пальцем в чайном блюде.

— Григорий Тимофеевич, как вы это делаете?

— Очень просто. Беру часть гумми-арабика и часть воды, смешиваю с листовым золотом и потом растираю до тонкости хорошо тертой краски.

Дмитриев творит золото на всю артель. Золота в мстерской миниатюре идет немного: только на орнамент.

Не золото превращает мстерскую коробочку в драгоценность, а наложенные мастером краски с их переливами и блеском «оперения райской птицы».

ЗИМА НА МИНИАТЮРЕ

На миниатюрах редко пишут зимний пейзаж. Народные художники привыкли брать свои краски у весны, лета и осени. У зеленого луга, голубой воды, кудрявой рощи.

Василий Петрович Соколов написал овальную миниатюру «Лоси зимой».

В золотом ободке орнамента голубели снега, темнела опушка леса. На переднем плане был нарисован рыжий, с белой верхушкой, стог и возле него вышедшие на кормежку лоси.

А за окном мастерской полыхал летний полдень. Ворот вышитой рубашки Василия Петровича был растегнут. На лице блестели росинки пота.

В миниатюре было мало особенностей мстерского стиля. Может быть, потому, что Соколов пришел в артель из Палеха.

Как и Серебряков, он учился в Строгановском. Это не помешало ему вернуться в тот мир, в котором он вырос и стал миниатюристом.

В работах Соколова чувствуется знание приемов стан-

живой живописи и желание найти в искусстве современной Мстеры свою тропинку.

АНТОНОВСКИЙ

Комната похожа на расписную коробочку. Кисть живописца любовно разрисовала и стены и даже низкий посудный шкафчик.

Живописец, он же хозяин этой комнаты, Федор Васильевич Антоновский сидит за столом возле раскрытого окна, и ветер шевелит на его голове тронутые сединой, слегка вьющиеся, сероватые волосы. И рубашка на нем серая, в клеточку. Пышный нимб волос, большой рот с тонкими губами, пористые бритые щеки придают наружности Федора Васильевича что-то артистическое. Да он и чувствует себя артистом: художником, поэтом, композитором.

— Хотите, я сыграю на гармошке? — предлагает он. — Я музыку сочиняю сам на слух и на свой текст — вальсы и марши...

Голос у Федора Васильевича — резкий, металлический, а говорит он быстро, иные слова проглатывая. Его небольшие темнокарие глаза смотрят вопрошающе. Вот он уперся руками в края табуретки, привычно скользнул на пол и вдруг сделался низким, ниже стола. Мы видим, что ноги Федора Васильевича обрезаны наискось: одна — выше, другая — чуть пониже. Вынув из небольшого красного ящика гармонь-двухрядку он с ловкостью, быстро снова вскарабкался на свое хозяйское место. Он играет, читает стихи. Рассказывает о своем житье — как сам топит печку, стряпает; недавно чуть не сжегся: закрывая трубу, сорвался на раскаленную плиту.

Положив гармонь на подоконник, Федор Васильевич берет со стола костяной гребень и проводит им по воло-

сам. Достает из лакового портсигара папироску. Закуривает. На портсигаре — картинка: вооруженный всадник едет по зеленой дороге среди деревьев и иконных горск.

— Это красный партизан. Моя работа. Я ведь по профессии художник миниатюры, член артели. Только в мастерскую не могу ходить, работаю дома...

В окно видна тихая зеленая улица с яблоневыми садами на задворках с облачным небом.

— Люблю природу и вообще красоту, — говорит Федор Васильевич. — Я, как бывший иконописец, конечно, жил и в Москве и по другим городам. Чего я не перевидал, не испытал! Жизнь у меня была, ой, какая!..

Жизнь его — сплошная война. Сколько ушибов, синяков, царапин получил он за свои сорок восемь лет! В детстве били его в иконописной мастерской.

— Как сейчас помню: не успел я войти в мастерскую, мастер меня — р-раз! — ремешком плетью, чтобы я «места искал».

Восемнадцать лет поступил работать к московскому иконнику Гурьянову. С хозяином не поладил. Имел Гурьянов звание «поставщика двора его императорского величества» и потому, требовал от своих мастеров верноподданнических чувств, а пятый год выветрил остатки их из молодого Антоновского. Ходил он за красными флагами, был на баррикадах.

Из мастерской его выгнали с отметкой на паспорте: «На работу не принимать». Голодал, ночевал на кладбищах. Думал пробраться за границу. Арестовали, этапом пригнали на родину, во Мстеру. В революцию был председателем сельсовета. Писал в газеты заметки, сочинял политические и сатирические стихи. Нажил врагов. Десять лет назад в больнице ему отрезали ноги. Жена не стала жить с калекой. Да и страшно было. За стишки хотели на селе убить Федора Васильевича. И однажды ночью в окно, разбрызгивая стекла, влетел с улицы кирпич.

— Немного не попал в голову. Да этим меня не запугать — нет, не запугать!..

Угрозы, побои, несчастья не отняли у Федора Васильевича жадного интереса к жизни, желания участвовать в ней, рядить ее в звуки, в краски, в рифмованные слова. Одиночество угнетает его, и он неудержимо тянется к людям. Он переписывается с певицей О. В. Ковалевой, которой подарил расписную пудреницу, гордится дружбой художника Ф. А. Модорова. Он посылает девятилетнего сына Шурика ко всем приезжающим во Мстеру людям с записочками, — заманивает гостей к себе стихами, музыкой, вишнями, яблоками своего сада.

В этом саду, среди густых запахов лета, Федор Васильевич пишет автобиографическую повесть «Путь народного художника» и вместе с тем оберегает сад от мальчишек. С необыкновенным проворством ковыляя за ними на своих деревянных утюжках, он внушает, что воровать яблоки — нехорошо, стыдно, к тому же они еще мелкие, не созрели. И в расписной комнате веет земным плодородием. На столе в тарелке розовеет первая, еще твердая земляника. Рядом с тарелкой стоит флакон с одеколоном, блестит металлическими частями желтый ящик радиоприемника. В углу на этажерке лежат любимые книги, лежат тетради с черновиками повести.

Книгами, плодами сада, желтым ящиком, а главное, игрой на гармошке Федор Васильевич в осенние и зимние вечера приманивает к себе молодежь. В длинные вечера осени и зимы ребята и девушки устраивают в расписной комнате под гармошку Федора Васильевича танцы.

— С музыкой, знаете, жить легче...

Он держит свой бедный инструмент, как нечто драгоценное. Его пальцы скользят по пуговицам ладов — и из-под пальцев, как стружка из-под рубанка, сыплются кудрявые трели. И завитки орнамента на стенах как бы вторят завиткам звуков.

Шурик в белой ситцевой рубашке и коротких штанишках, не доходящих ему до загорелых коленок, сидит на изразцовой лежанке и подыгрывает отцу на свистульке — «жестяном соловье». Пред «концертом» мальчик налил в него воды и теперь «соловей» в смуглых маленьких руках Шурика заливаётся пронзительным журчаньем.

Сумерки спускаются по углам. Вечер встает за окном — ясный, свежий, с расчистившимся над крышами небом и сухим звоном кузнечиков в траве.

— Вот теперь будете иметь представление о нашем оркестре, — говорит Федор Васильевич.

Он проводит гребнем по волосам и начинает играть новую свою композицию. В полумраке лицо его светится важной думой.

Брызжут металлические завитки звуков. Вьются по стенам узоры орнамента, сливаясь с потемками.

А луна за окном, как домовитая хозяйка, уже стелет по земле серебряные половики.

«ЦЫГАНЫ» НИКОЛАЯ КУЛТЫШЕВА

Молодой мастер Николай Михайлович Култышев, голубоглазый и рыжеватый, долго расписывал чернильные приборы, копируя чужие образцы. Но Култышеву хотелось писать свое.

Помогая Николаю Михайловичу скорей вырасти в самостоятельного живописца, Ивановский союз художников дал ему месячный творческий отпуск. Николай Михайлович решил написать за это время оригинальную вещь. Темой он выбрал памятные с детства строки Пушкина:

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.

В артели Култышев сказал:

— Придется заняться головоломочкой.

Он сосредоточенно обдумывал композицию миниатюры. Старался связать, объединить образы стихотворения в рисунке эскиза. Когда эскиз был готов, взялся за кисточку. Писал «Цыган», не торопясь, переделывал то одно, то другое. Изобразил шатры, стройную Земфиру в длинном струящемся платье, цыган на зеленой поляне возле реки, традиционных иконных горок и орнаментальных деревьев. Но вещь все еще была далека от того, что носилось перед глазами.

— Тут надо дать перспективу дальки, — говорил нам Николай Михайлович, указывая кисточкой на недоделанные места. — А вот здесь придется вызвать цвет платья цыганки, чтобы оно заиграло. — Слово «вызвать» означало у Николая Михайловича — «усилить».

Он обмакнул кисточку сначала в одну, потом в другую краску. Попробовал он лежавшей пред ним линейкой, какой получится тон, и начал «вызывать» платье Земфиры.

— Вот все время так. Тут успокаиваешь, здесь вызываешь еще крепче.

По виду Култышеву лет тридцать. Учился иконописи, но сделаться иконописцем не успел: пришла революция. Она сделала Култышева сначала квалифицированным ткачом на одной из ковровских фабрик, потом — миниатюристом в артели. Николай Култышев — ученик Брягина, член брягинской бригады. «Цыганы» были его экзаменом на творческую зрелость. Этот экзамен Култышев выдержал.

ЦВЕТОЧНАЯ КОННИЦА

Иван Николаевич Морозов, мастер в годах, с колючим серебром, проступившим на подбородке и возле щек, тоже написал миниатюру «Цыганы у костра».

Цыганы сидели и лежали возле огня, а по изумрудному лугу паслись их кони. Одни из коней были написаны яркомалиновыми, другие — густоголубыми.

Таких же разноцветных коней написал Иван Николаевич и в своей иллюстрации к пушкинской повести «Дубровский». Синие и розовые лошади, запряженные в свадебную карету, стояли среди зеленого леса. Их держали под уздцы «разбойники» Дубровского. Кони казались цветами необыкновенной формы.

Нам вспомнились кони палехского Ивана Голикоза, тоже алые, синие, лиловые. Мы спросили Ивана Николаевича, почему он видит лошадей малиновыми? Разве существует в природе такая лошадиная масть?

Мастер ответил:

— В природе не существует, а на иконах существовала.

— На каких же?

— Была икона под названием «Огненное восхождение Ильи пророка». Там тройка красных рысаков мчит Илью по тучам на небо. Опять же на иконе «Фролы» полагалось писать целый табун разномастных коней. А мы от иконы берем многое...

Иван Николаевич был прав, рисуя красных и голубых лошадей. И не только потому, что он писал их такими на иконах, но и потому, что художник воспринимает мир по-своему, по-особенному. Ему может почудиться конем и зажатое закатом облако и клоч лугового тумана.

А незабудковые, васильковые и гвоздичные кони были красивы. И, как незабудки, васильки и гвоздики в букете, они сливались в стройный цветовой аккорд.

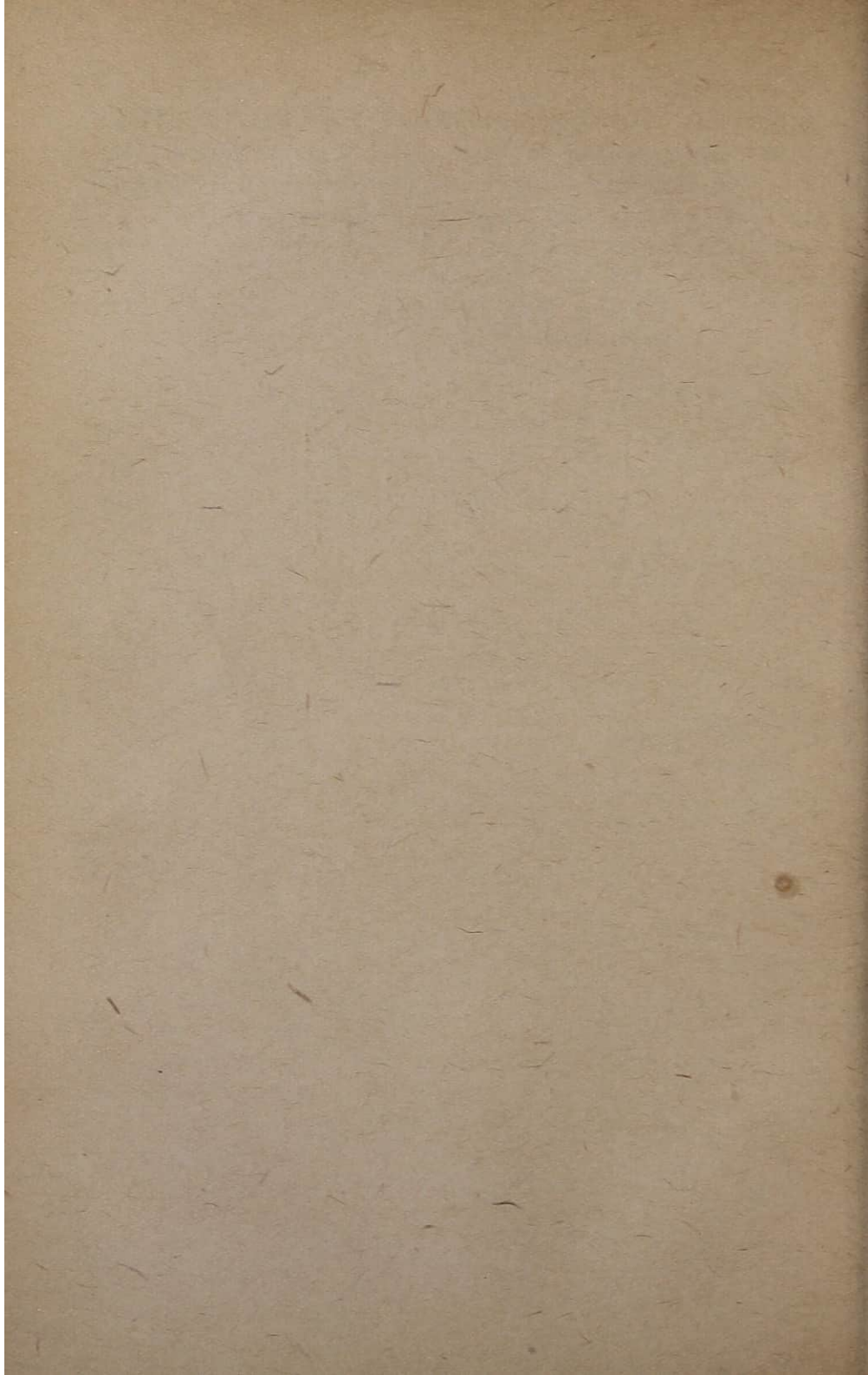
В первые годы революции Морозов был бурлаком на Клязьме, но мастерства не утратил. Вместе с другими живописцами Мстеры он ищет нового как в стиле, так и в темах.

Кроме иллюстраций к Пушкину, он пишет и такие

композиции, как «Социалистическое строительство». Над кудрявыми горками высятся фабричные трубы города. Красный обоз едет по новой дороге. Красные и голубые кони везут в город хлеб. А от города движется в поля другой красный конь — трактор.

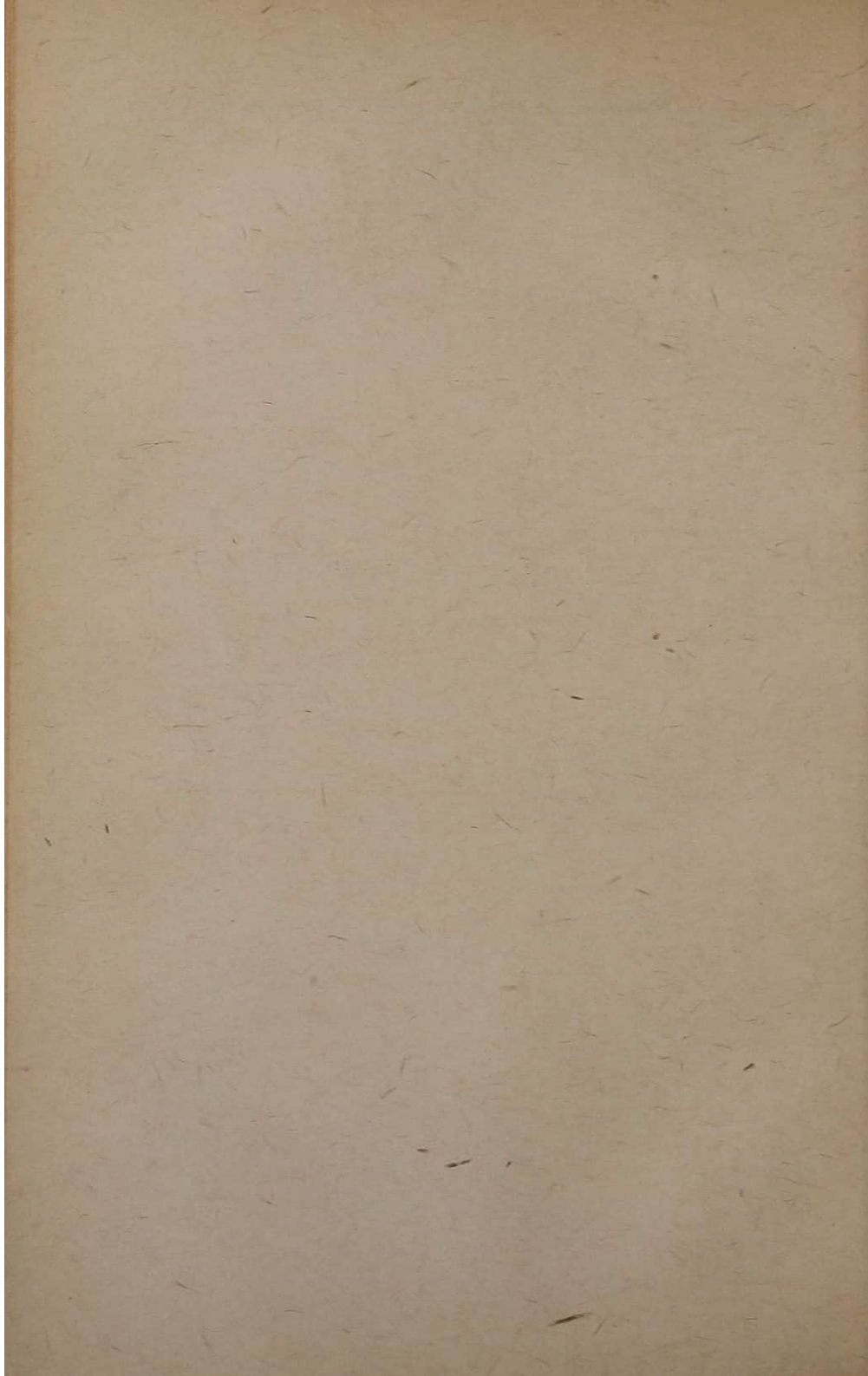


и.к



II

Пробег кистью





СОКРОВИЩА ВЕКОВ

Как раз в эти дни гостил в Москве Ромэн Роллан. Французский писатель оставил в книге записей Третьяковской галереи следующие строки:

«С восторгом осматривал залы с драгоценными произведениями древней русской живописи. Шедевр Рублева произвел впечатление наибольшей гармонии произведения чистейшего искусства».

Андрей Рублев был вершиной древней русской живописи. Мстера хорошо знала рублевское письмо. До тонкости были изучены иконописцами старой Мстеры стили: новгородский, строгановский, древне-московский.

Главным потребителем мстерской иконы было старообрядческое купечество. Нижегородский мукомол Бугров содержал во Мстере особого уполномоченного по иконописным делам. Старообрядчество требовало от Мстеры иконы древней. И в то время, как Палех переходил на фряжское письмо, Мстера держалась старых традиций. Мстерские иконописцы были великими стилистами, искуснейшими имитаторами художественной старины. Николай Ни-

жифорович Овчинников, брат художника, в неопубликованной краеведческой работе «Краткий очерк истории иконописания во Мстере» — сообщает:

«Большой спрос на древние иконы в музеи, в старообрядческие храмы и моленные заставил производить подделки под старинные иконы. Образовались мастерские исключительно по реставрации икон..»

Так искусно могли мстерцы писать по древним образцам, что часто специалисты становились втупик в определении возраста только что написанной иконы. А с какой тонкостью реставрировались древние иконы: подписывалось к небольшим, уцелевшим от времени, пятнам больше половины изображения, и икона ставилась часто в музей как древняя, целиком сохранившаяся...

А если нужно было подделать икону, подменить новую под старую, тогда ее спиливали толщиной в три миллиметра, накладывали новый грунт и писали копию. Эту копию отдавали заказчику за его икону, а спиленную наклеивали на другую доску, реставрировали и продавали за очень хорошую цену. Если икона не подделывалась, а просто, как выражались мастера, «писалась под старинку», тогда писали ее на холсте. Накладывали грунт, писали в темных красках под старое новгородское письмо, потом мяли этот холст так, что грунтовка вся трескалась, местами чуть не отваливалась. Тогда этот холст наклеивали на доску и чернили, покрывая копотью и грязной олифой. Икона выходила настолько старая, что сам мастер не узнавал своей работы...»

До сих пор во Мстере ходят рассказы о том, как даже знатоки попадали впросак на мстерских подделках.

Ценитель древней живописи князь Путятин отдал жившему в Москве мстерскому иконнику Чирикову старую икону для реставрации. Икона была редкостная и стоила

больших денег. Чириков не удержался: спилил икону. На старую доску наклеили вновь написанную копию, схожую с подлинником, как две капли воды. Копию Чириков отнес Путятину.

— Вот, ваше сиятельство, извольте получить... отре-ставрировали вашу иконку-с...

Князь не заметил подмены. Может быть, он так и не узнал бы ничего. Может быть, профессора-искусствоведы, эстеты и археологи, приходя в гости к князю, при созерцании чириковской копии ощущали бы «запах столетий». И, вероятно, кто-нибудь написал бы о ней ученое исследование. Но внезапно обман раскрылся. Кто-то из мастеров, будучи обижен Чириковым, рассказал князю о проделке хозяина. Путятин вызывал иконника:

— Ты что же это делаешь?

— Не понимаю, о чем изволите говорить, ваше сиятельство.

— Он не по-ни-мает!..

Князь вспыхнул. Приказал немедленно принести спиленную икону. Чириков испугался. Икону пришлось вернуть. Когда Чириков явился с иконой, князь посадил его в кресло и спросил уже спокойным тоном:

— Ну, а теперь расскажи, как вы это делаете?

В глубине души он был восхищен фальсификацией, доведенной почти до степени искусства.

Жил во Мстере иконник Шитов, сам хороший мастер, понимавший толк в старине.

Работая со своими иконописцами в церкви села Борисовского, около Владимира, он увидел в алтаре икону в простом жестяном окладе. Икона была древняя, новгородского письма. У Шитова на нее глаза разгорелись.

— Эх, ребята, спилить что ли? Ну, куда им, дуракам, такая икона? Что они в ней понимают?

Он долго колебался: спилить или не спилить? Осторожность удержала:

— Боязно. А только попадись эта самая икона в руки кому другому, обязательно спилили бы. Не быть бы ей здесь!..

Нынешние мастера миниатюрной живописи, когда-то работавшие у Шитова, Чирикова и других иконников, в совершенстве изучили древнее письмо. Они могли ловко подделать икону, с неподражаемым мастерством написать ее «под старинку». Но в той затхлой среде, которая опутывала иконописцев пыльной паутиной ремесленных будней, они не чувствовали себя художниками и не были ими. Мастера не знали, что делать с богатствами древнего искусства, которые были в их руках.

Этими богатствами они воспользовались теперь, когда их работа стала свободным творчеством художника.

РУССКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ

В окна художественной мастерской смотрят просторные мастерские дали. Синим лесом, светлыми реками подступила к Мстере природа. Зелеными садами вошла она в село.

Художники смотрят на сады, на луга и пишут свои композиции. Кисточками, связанными из волосков белки, они делают мельчайшие мазки. Концы кисточек — тоньше игольного остря.

Кисти Мстера получает из Палеха. Там их с непревзойденным мастерством вяжет художник А. В. Котухин. Но стиль у Мстеры — свой, не похожий на стиль Палеха. Мстерская миниатюра пейзажна. Ее стиль идет и от старинной иконы, и от мстерских широких далей. Палех — линия. Мстера — цветное пятно.

«Мстера теперь не похожа на Палех. Последний тяготеет к графичности, к жесткому контуру, любит контрастные цвета, замкнутые в своей красочной определенности. Заковывает в золото фигуры. Живопись дается на черном фоне.

Мстера, наоборот, не знает графичности, избегает отделки золотом. Она — живописнее. Стремится к колористическому единству. Предпочитает цветные тона: голубые, бирюзовые, красные, охристые. Черного тона не применяет. В тех же случаях, когда черное оставляется, живописец почти закрывает его скалами, растительностью. Черное в мстерской живописи воспринимается, как цвет.

В противовес Палеху, где в центре стоит фигурная композиция, Мстера разрабатывает пейзаж, растворяя в нем отдельными живописными пятнами фигуры людей и животных»...

В. М. Василенко писал это в 1933 году.

С тех пор во мстерской миниатюре изменилось многое. Действие, сюжет выступают в ней все определеннее. Но они находятся в цветовом единстве с колоритом всей вещи.

Мстера смела в своих художественных исканиях. Сочетание иконописной выучки с реалистическими стремлениями внесло во мстерскую миниатюру столько свежей прелести, что искусствоведы сравнивают живопись народных художников с живописью ранних немцев и фламандцев, вспоминают Брейгеля Бархатного.

Мастеров Мстеры называют «русскими голландцами», но они не голландцы, не итальянцы, а сами по себе. Их молодое искусство еще все в дороге, все на заре.

ПРОБЕГ КИСТЬЮ

Мастера Мстеры любят рисовать героев, побеждающих арктические льды или взлетающих в стратосферу. Но и сами они, эти скромные с виду люди, — такие же герои. Их Арктика — тот маленький многоцветный мир, который бывшие ремесленники иконописного промысла

открыли на лакированной пластинке за несколько лет напряженных исканий.

Осенью 1935 года в одном из крымских домов отдыха я видел расписные ковры. Бойкая кисть намалевала на холсте: «Первый поцелуй», «Лунную ночь», «Русалок», «Стеньку Разина».

Такие ковры писали во Мстере с 1919 по 1930 год. Писали, чтобы «подработать». Безземельная Мстера шла в искусство по терниям нужды. Оттого она шла медленно. Ковры и матрешки не были искусством. От Палеха до Мстеры недалеко. Расстояние между матрешечно-ковровой живописью мстерцев и миниатюрами палешан было огромно.

Палех уже был мировой знаменитостью. О Мстере не слышал никто.

Нужно было напрячь все силы, чтобы вырваться из ремесленничества в искусство. Нужны были вера в успех и готовность пойти на лишения. Все это нашлось у мстерцев. Решили, по примеру Палеха, писать на папье-маше.

Раньше русские художники ездили учиться в Италию. Мстере незачем было ехать за границу. Изучать лаковое дело можно было в Федоскинской артели и в Московском кустарном музее. В 1930 году Мстерская артель живописи послала четырех своих работников в Федоскино и в Москву.

Но овладеть техникой лакового производства еще не значило найти свой художественный стиль. Его надо было открывать, как новую страну. Завоевывать, как стратосферу.

Искать стиль приходилось в обстановке, мало соответствующей значительности этого дела. Весной 1931 года артель живописи в сущности была артелью столяров. Они составляли большинство. Живописцев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мастерской живописцы не имели и вообще были в заголе.

— Посадили нас, пять человек, работать в коридор, — вспоминает А. И. Брягин: — работали мы, не жалея ни сил, ни глаз. Все создавалось каким-то напряжением...

Летом живописцы отделились от столяров. Председателем выбрали Л. В. Юрина. В своем выборе не ошиблись.

Страна расцветала творчеством. Мастера росли вместе со страной. Они двигались вперед, как герои ашхабадского пробега. И не прошли — пробегали расстояние, отделявшее их от настоящего искусства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРТЕЛИ

Люди нашего поколения изучали географию собственными ногами. Их ветром носило по земле. Они знают десятки ремесел.

Леонид Васильевич Юрин готовился в иконописцы. Революция перестроила его жизнь по-своему.

Восемнадцатый год бросил молодого Юрина на уборку урожая в Уфимскую губернию. Не потому, что иконописец Юрин много понимал в сельском хозяйстве, а потому, что в ту осень стране и революции хлеб был нужнее, чем его живопись.

Двадцатый — дал Юрину в руки красноармейскую винтовку и послал на Туркестанский фронт. В крепости Кушке, на границе Афганистана и Ирана, Леонид Васильевич начал писать портреты вождей и декорации для клуба Красной армии.

Способности молодого живописца были замечены. Чтобы вожди и красноармейцы на портретах не походили на святых и преподобных, политотдел армии послал его для усовершенствования в рисовании сначала в Ташкент, потом во Владимир на Клязьме. Побывал Юрин и в Мстерском художественном техникуме Модорова. А нау-

чившись рисовать, поступил в милиционеры. В новой должности проявил усердие и расторопность. Лет через пять работал уже за начальника милиции.

Памяткой той поры осталась протершаяся на сгибах почетная грамота и карманные именные часы. Теперь, показывая гостям эти награды, Леонид Васильевич с гордостью говорит.

— Я сколько краж раскрыл!..

Но, как ни интересно было раскрывать кражи, рука от нагана просилась к кисти. В 1927 году вступил в художественную артель. Писал ковры. Выдвинули на культработу. Потом выбрали председателем.

Юрин почти всегда в разъездах, в хлопотах по артельным делам. Он привык к тряске тарантаса, к мерному покачиванию вагона, к беготне по учреждениям, к смене мест и лиц.

А когда он сидит в большой и светлой комнате правления за своим письменным столом, то его, председателя артели народных художников, можно принять за директора большого предприятия, — такой у него вид. Леонид Васильевич всегда чисто выбрит. И всегда его костюм кажется новым. Из-под пиджака видна шелковая рубашка с галстуком, на голове — узорчатая шапочка, на ногах цветные шелковые носки и желтые полуботинки.

Чернильный прибор на столе сделан из папье-маше и украшен росписью. Поднимая от бумаг свои светлоголубые глаза с белыми прямыми ресницами, Юрин видит на стене диплом, полученный артелью на Всероссийской кустарнопромышленной и сельскохозяйственной выставке 1923 года. За стеклами большого шкафа отливают красками расписные коробочки. Под каждой миниатюрой золотом выведена фамилия художника.

Юрин не пишет миниатюры — ни на одной нет его имени. Но каждая миниатюра обязана своим появлением и ему, его работе. Было время, когда артель со всеми

своими материалами и бухгалтерией находилась в доме нынешнего завхоза Куликова. Живописцы работали в темном коридоре. Или дома, возле кухонной печки.

Сейчас артельные здания занимают чуть не целый квартал. В них — мастерские, склады, контора, столовая, школа, клуб с библиотечкой, квартиры артельщиков. Эти артельные дома — тоже своего рода «миниатюры», под которыми вправе поставить свое имя каждый член артели. И вместе с другими, ее председатель Юрин.

ОТ СТАНКА К КИСТИ

Дни обливали зноем. В лугах за Мстеркой трещали косилки. Прыгали в пахучих валах зеленые кузнечики. Слепни роем гудели у стада. К вечеру в лугах скрипели подводы и вставали круглые травяные башни.

С утра до ночной темноты реку будоражили купальщики. Дети почти не выходили из воды. Кучер Иван привел купать артельную лошадь. Ввел ее в воду и сам пошел рядом в облипшей вокруг тела рубахе и портках:

— Дольше так-то не высохну, а то замучился...

Тянул Серого за повод в глубину.

— Н-но, бойся!..

И поплыли оба, измяв светлую водяную гладь.

Ночи шли в ярых грозах, в бурных проливнях. От молнии на той стороне Клязьмы, напротив Лысого Яра, сгорел стог сена.

Грозы прошли и по лакированным артельным коробочкам.

Последователь старика Клыкова, пожилой мастер Владимир Федорович Гольшев, закончил новую миниатюру. Над зелеными, прямо стоящими, деревьями темнела лиловая туча. Ее прочертили золотые молнии. Маленькие человечки бежали под секущим дождем.

Тут все было клыковское: и лилово-синеватые прозрачные тона пейзажа, и как бы детской рукой написанные фигурки людей, и легкие, возносящиеся вверх деревья — их и гроза не согнула.

Клыковские краски легли на миниатюры двух других мастеров: И. И. Тюлина и Н. Н. Клыкова — сына.

Николай Николаевич Клыков унаследовал от отца высокий лоб, цвет глаз и ремесло иконописца. В артель он вступил недавно. До артели жил в Ленинграде, работал на Путиловском заводе. Заболел. Признали инвалидом. Поехал на родину, в тишину, поправлять здоровье, удить рыбу. Он уже знал об артели живописцев, читал о них раньше. Но для того, чтобы до конца ощутить то новое, что вошло в жизнь Мастеры, нужно было увидеть все собственными глазами. Николай Николаевич был удивлен. Изменилось не только село. Изменились люди, с которыми до революции он писал иконы. И не то, чтобы постарели, а как-то даже помолодели, несмотря на тронутые сединами виски, на морщинки. Они писали чудесные миниатюры. Кончив работу в артельной мастерской, жили этой работой и дома. Читали, набрасывали эскизы. Толковали о новых темах, об артельных делах, о старике Клыкове — знаменитом мастере, что «выгляделся» на мелочи и теперь шагает впереди всех. Николай Николаевич пришел к отцу. Старик смотрел через очки на квадратную пластинку и расцветчивал рисунок своими северными холодноватыми красками.

— Работаете, папа?

— Работаю потихоньку, как умею...

— А зрение каково?

— В очках еще вижу.

За самоваром отец сказал:

— Ну, давай, говори о себе...

Но говорить о себе, о своей болезни почему-то вдруг расхотелось Николаю Николаевичу. Он почувствовал, что

еще не так плохо его здоровье, как казалось до сих пор. Ощущал в себе какие-то новые силы. Ему ли, члену партии, складывать руки? Нет, рано, рано. Надо брать кисть и учиться, переучиваться. Нужно догонять других. Догонять и этого благообразного розового человека с белым пухом на голове и наростами у слезящихся глаз, ставшего таким замечательным художником. На заводе Николай Николаевич видел героические дела. Сам участвовал в этих делах. Это героическое, высокое он ясно увидел теперь и здесь. Пожилые, наполовину износившие себя, люди размахнулись на большое начинание и отдавали ему свое лучшее.

И Николай Николаевич вступил в артель живописцев.

БАБОЧКА

Художественная Мстера — это жемчужина, вставленная в дорогую оправу лугов, лесов, рек.

А в самом селе еще много черт старого уездного захолустья: изрытые ухабами улицы, овраги, — наследство прежних хозяев-купцов.

Однажды как-то решил привести Мстеру в культурный вид и выкрасил все каменные здания в розовый цвет. Но краска не могла скрыть, ни выкрошившихся углов, ни дыр на изъеденных ржавчиной водосточных трубах.

По вечерам ни читать, ни рисовать нельзя. Электрические лампочки светят красноватым накалом. Мигают. Умирают.

Подающая свет клееночная фабрика по недостатку энергии сама работает не на полную мощность.

Пожилые мстерцы спозаранок ложатся спать, а молодые гуляют парочками возле театра — бывшей церкви, о которой напоминают белые колонны перед фасадом.

Недалеко от театра, в проулке, наискось от парикмахерской «Гигиена», сереет деревянный навес с сениными весами и ключьями пыльного сена.

Но уездное, старокулическое — это не только ухабы, неприбранность, малограмотность.

Сейчас художников Мстеры называют «русскими голландцами». Несколькими годами назад у них было другое имя: «кукольники». Так окрестил мстерский обыватель членов артели, начавших свою работу с росписи кустарных матрешек. Над «кукольниками» в селе смеялись. Им предсказывали мрачную будущность:

— Ничего у вас не выйдет, насидитесь без хлеба.

Не счастье всех булавочных уколов, назойливых пустиков, камней из-за угла, которые иногда ранили довольно ощутительно, — и мешали заниматься делом.

И оттого вдвойне героична работа художников. Оттого на артельных собраниях прямолинейный Овчинников, взяв слово, раскаляется негодованием. Как заведенный, размахивает руками. Кричит о неиспользованных путевках и тут же о разошедшихся за лето артельных лодках, ключи от которых все лето проносил в кармане культурник артели, не давая никому кататься. Вспоминает всякое...

— Такие причины тормозят нашу работу... Это нас взъерошивает... Придешь работать, а кака тут работа: руки дрожат!..

Говорят и другие мастера. Говорят о необходимости культурно-просветительной работы, хорошей библиотеки, учебы. О том, как сделать художественную Мстеру подлинно культурным сердцем района.

Тяжелую борьбу вынесли мастера Мстеры. И не только с нуждой, но и с ядовитой завистью, с мешанским злорадством, с грубым пренебрежением невежд. И все-таки работали, выбивались из «кукольников» в художники. И выбились. Из куколки вылетела яркая пестрокрылая бабочка искусства.

ХУДОЖНИКИ ЖИЗНИ

Еще утром наша хозяйка, согнутая старушка, сказала:

— Гроза нынче будет.

— Почему вы так думаете, Таисья Яковлевна?

— Молоко-то на вкус не кислое, а свернулось.

Таисья Яковлевна стояла у двери, желтолицая, в черном ситцевом платке, и терлась спиной о косяк. Так она лечилась от ревматизма.

— Спина совсем отнимается... прямо смерть моя!..

Наша комната тонула в тени. В ней еще таилась ночная прохлада, а на улице уже стоял душный зной. Все было неподвижно: раскаленный воздух, деревья с обвисшими листьями, трава у забора. Только вверху, над садами, бесшумно ворочались и боролись белые и серосизые медведи.

В этот день пыль под ногами казалась золой. В нагретой, и тоже будто неподвижной, Мстерке плескалась детвора. По брюхо в воде стояли коровы, задумчиво опустив рогатые головы. Художник Василий Григорьевич Голубев сидел в своей комнате на Набережной и работал. Устало водя кистью по холсту, писал свой «Индустриальный пейзаж». Пахло в комнате яблоками. Мухи с дремوتным жужжанием слепо бились о стекла. В окнах дрожала и струилась луговая даль.

— Малою. В Иванове будет некогда.

Василий Григорьевич служил в областном союзе художников. Но, как и Модоров, он тоже был наполовину мстерцем. Юношей учился в здешней иконописной школе. Узнал иконные стили, завел друзей на всю жизнь.

На картине были написаны фабричные корпуса, домики, заборы, измятый городской снежок.

От нарисованного снега тянуло морозцем. А день попрежнему томил зноем.

— Ну, и баня, — сказал Василий Григорьевич, посмотрев из-под пенсне: — искупаться, что ли?

Купались. Вода только на минуту взбадривала тело. Кто-то изредка раскаленно дышал с лугов. Сухо ковали в тишине кузнечики. Где-то очень далеко вздыхал гром. Медведи, наигравшись, куда-то ушли, и солнце палило во всю силу.

И вдруг из-за Мстеры, с севера, потянуло, как от картины Василия Григорьевича, освежающим холодком. Из-за кровель села беззвучно и быстро катился по небу зловеший черный вал, а под ним клубилось что-то седое и легкое. Туча закрыла солнце. Сразу потемнело. И стало так тихо, будто все затаило дыхание.

Торопились поспеть до дождя домой. И вот ударил в лицо ветер. Он рванул траву и кусты, закувыркал на дороге сухие листья, закрутил соломинки и песчаную золу. Уже упали редкие тяжелые капли, когда мы подбегали к нашему, похожему на купеческую палатку, дому. Под окнами стояла артельная подвода. Приезжие — невысокий человек в пальто и полная женщина — входили в крыльцо.

Тут треснуло небо. Все облилось голубым светом. Даже лошадь шарахнулась от громового удара. И вслед за этим кто-то высыпал на железо кровли ящик гвоздей. Ливень обрушился на землю, внезапный и бурный.

Приезжие — профессор Бакушинский с женой — сидели за самоваром. В окна кидало водяным горохом, барабанило по крыше. Лица голубели от молний. Электричество горело тускло. Такся Яковлевна внесла в комнату зажженную лампу.

У Анатолия Васильевича Бакушинского — розовое лицо с большим круглым лбом и голубыми глазами. На висках и затылке гладко лежат русые с проседью прядки.

Сухие седые волосы Зинанды Николаевны можно принять за парик — совсем не идут они к свежему полному лицу с небольшими темными глазами. На белой кофточке

цветла нарисованными розами овальная брошь из папье-маше — маленький, сотворенный рукою художника, мир. Зинаида Николаевна сразу почувствовала себя дома и как-то уютно разливала чай. Радовалась, что не попали под дождь:

— Вот бы вымокли!..

Профессор Бакушинский и другой работник института Художественно-кустарной промышленности, В. М. Василенко, помогали мастерам в творческих исканиях. Два года назад Анатолий Васильевич гостил во Мстере целое лето. Изучал здешнюю иконопись. Толковал с мастерами о реалистической живописи.

Мастера были сильны тем, что дала им икона: красивым пониманием цветов, строгой разработкой сюжета, умением обобщать линии, ясностью и четкостью рисунка. Им не хватало другого: знания форм живой природы. И мастера в то лето писали на папье-маше натюр-морты. Учились рисовать с природы.

Сдвиг, который совершила Мстера два года назад, был ей необходим. Он обогатил мастеров. Научил их понимать, что рост — это движение и что силу движения сообщает только живая жизнь.

Бакушинский любил жизнь и движение.

Рано встав, он с юношеской легкостью шел в артель. До чая успевал обежать цеха, поговорить с мастерами, посмотреть на миниатюры, сделать отметки в своем блокноте. В разговоре называл всех «отцами», — даже тех, кто годился Анатолию Васильевичу в сыновья:

— Ну, как дела, отец?

Быстро поворачивался то к одному, то к другому. Внимательно смотрел в лица. Деятельный, целеустремленный, подвижной без суетливости, он не тратил времени даром. Побывал в артельной школе. Собрав художников, говорил о путях Мстеры. О том, как писать. Краски должны быть радостны, но не слащавы. Фигуры на ми-

ниатюре надо делать звонче пейзажа. Нужно идти к реальной жизни, к природе. Только так Мстера, взявшая от древней живописи самое ценное, может двигаться дальше.

Клязьмой Бакушинские поехали в Холуй, на родину Анатолия Васильевича, в тамошнюю живописную артель. Они уезжали вечером. Профессор смотрел с парохода на удалявшийся берег и махал фуражкой художникам, которые стояли на пристани:

— До свидания, до свидания!

Пристань ушла за поворот. Запыленное солнце опускалось в Клязьму. От реки пахло водой. Зелень берегов стала свежее, ярче. Мстера была за лугами, за туманами.

На автомобиле приехал из Вязников секретарь райкома тов. Карпенко. Говорил с мастерами, членами поселкового совета, о предстоящем юбилее мстерской миниатюры и о том, что придется сделать к юбилею. Надо осветить Мстеру, соединив ее с проходящей мимо горьковской электролинией. Выровнять улицы. Проложить к селу шоссейные дороги. Устроить в Мстере музей творчества. Завести хорошую библиотеку. Открыть Дом художника.

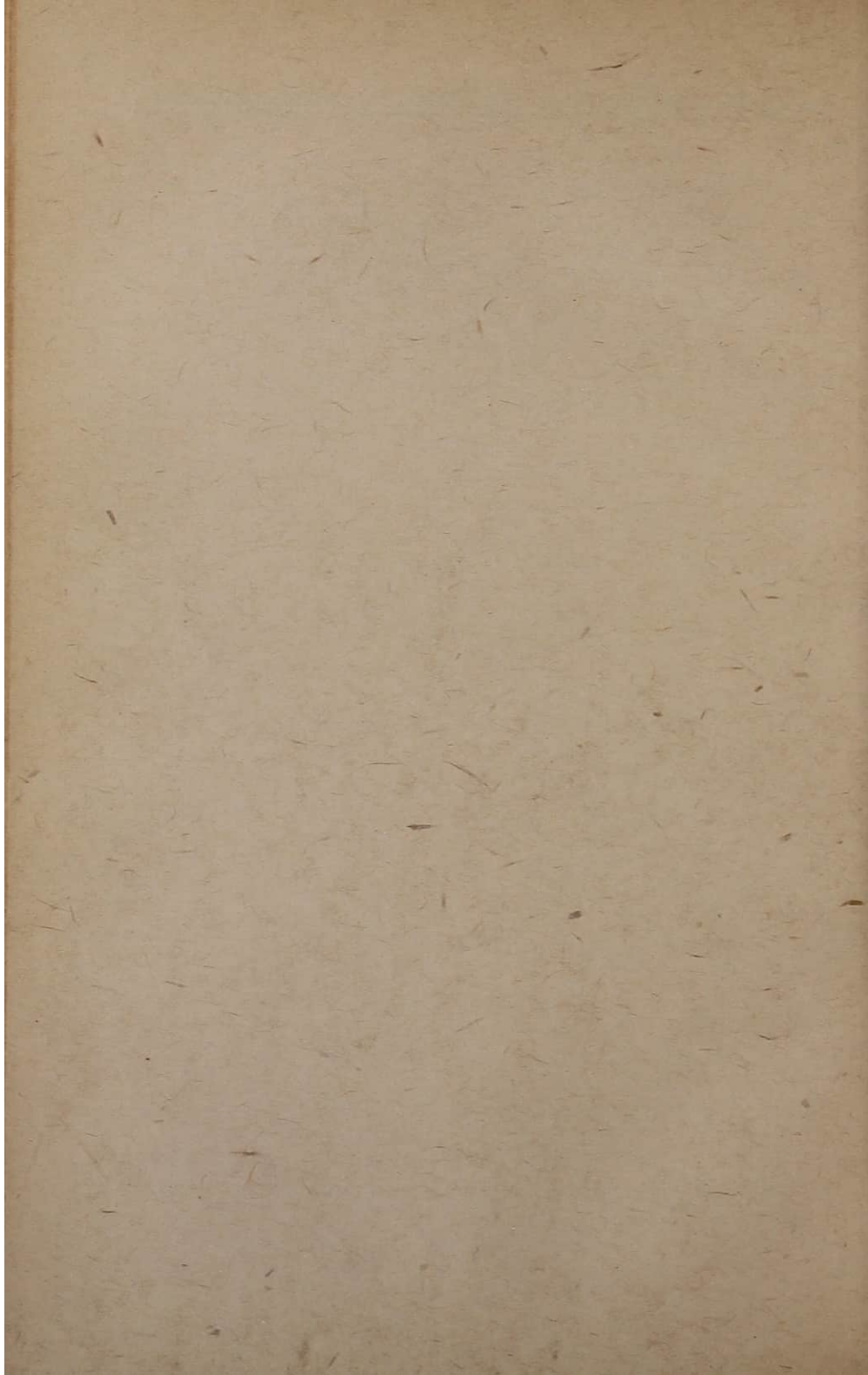
В открытое окно прокуренной комнаты сельсовета входил запах цветущих лип, запах молодости.

Секретарь райкома сидел за столом и его карандаш быстро бегал по бумаге. Художники говорили об артели, о новой Мстере. И радовались от мысли, что тонкая кисточка, одевающая красками папье-маше, сделает теперь такой же яркой и красивой жизнь целого села.



III

Ромодань





МСТЕРСКИЕ БЫЛИ

Тарской улицей мимо клееночной фабрики, мимо деревянного терема с башенками, где в первые годы революции был рабисовский клуб имени Андрея Рублева, а теперь помещалась рабочая столовая, Александр Иванович Брягин повел нас за дамбу в лес:

— Хорошо сейчас в лесу, душисто. Земляники наберем, фиалок...

За вертлявой Тарой с каемкой капустных огородов свежо зеленела мелкой травой луговая низина. По ней виднелись узкие тропинки. Спустившись с пыльной разъезженной дамбы, мы направились по лугу к яркому, полному солнечных просветов лесу, что взбирался впереди на пригорок. Навстречу шли дети с корзиночками земляники, женщины — с сучковатыми сухостоинами на плечах.

Своим мягким, слегка сильным голосом, чуть растягивая слова, Александр Иванович говорил:

— Вот на этом лугу в голодные годы сажали картошку, сеяли рожь. А еще раньше, когда я в парнях гулял, от гусиных стад не видать было травы. Гуси паслись день

и ночь. На двор их не загоняли. Каждое лето появлялся на лугу бедно одетый мужичок с мешком. Мужичок был мстерский, росла у него дочка. Согнувшись, он без усталости собирал натерянные гусями перья. Много лет подряд занимался он этим делом и вся Мстера удивлялась его терпению. А когда дочь мужика пошла замуж, то удивила всех большой пуховой периной. Были охотники и до живых гусей — больше пьяные рекрута. Отвернут гусю голу — и на костер, жарить...

Все дальше углублялся в старину Брягин. Эти вон леса до самого Коврова тянутся. Когда-то они смыкались с Рожновым бором Горьковского края и легендарными муромскими лесами. Год от года редееет лесная чаща, но еще и сейчас в ней водятся волки и медведи. А прежде жили и разбойники. Помнят во Мстере стоящую при дороге столетнюю сосну с железными цепями. Тут, говорят, останавливались на перепутье проезжие купцы. Привязывали к сосне лошадей. Недобрая слава ходила об этом месте. Не мало народу рассталось тут с вольным светом под ножами да кистенями. Прадед Александра Ивановича был мясником, ездил по деревням скупать скотину. В одну из своих поездок попал он в разбойничий притон. Разбойники ограбили его и хотели убить, да пожалели ради молодости. Взяли с парня клятву, что ничего никому не скажет и заперли в коровник. Прадед вылез через соломенную крышу и, белый, как мука, прибежал во Мстеру. Позднее часто видал он одного из разбойников, собиравшихся его резать. Разбойник был мстерский, торговал на базаре мясом. Клятву прадед держал крепко и только перед самой смертью решился открыть домашним свою тайну.

До сих пор ходят по мстерскому краю предания о разбойничьем атамане Егоре, смутные отзвуки давней лесной были. Рассказывают старики, что красная рубаха вора Егора была крепче панцыря. Платок-самолет спасал его от острога. Был вор Егор бунтарем, защитником мужиц-

кой голытьбы. Грабил богатых и помогал бедным. Напал на поезд царя Алексея Михайловича, ехавшего во Флорищевскую пустынь. Встретил бедняка горшечника, перебил его товар и превратил глиняные черепки в золотые деньги. В северной части мстерского края, у местечка Моста, и сейчас указывают следы землянок Егора и будто бы зарытых им кладов.

Но вор Егор — уже сказка. А вот дом, где живет Александр Иванович, тоже когда-то был гнездом разбойников. Во дворе дома — артельный огород. Копая гряды, каждый год находят артельщики в земле какие-то кости, старинные монеты, звенья цепей, наручники. Клада не вырыли, а такого добра много...

Мы сидели на пригорке у подножия леса. Справа и слева толпились высокие красноствольные сосны. В негустой и нежной траве темнело множество мелких чешуйчатых шишек и рыжела опавшая хвоя. Между деревьями убегали в прохладный сумрак коровьи тропинки. Разогретый воздух благоухал смолой. А ниже, по откосу, шелестела молодая березовая поросль. Там, на пригреве, поспевала земляника и, просвечивая в траве, возле темных невысоких елок, белели свечками восковые фиалки.

Брягин глядел на Мстеру, на луговину, где паслись стреноженные лошади. Он вспоминал годы, когда и ему приходилось корчевать на этом лугу кусты, копать его под картошку, обирать капустных червей. Да, много, много всего было в жизни. И все отодвинулось почти в такую же недосыгаемую даль, как разбойники с их кладами.

Книга жизни началась с новой страницы. Началась красивой разноцветной заставкой.

МУЗЕЙ

Петр Матвеевич Заводчиков — мстерский активист-общественник. История жизни Петра Матвеевича замеча-

тельна. Рассказывают, что раньше занимался он кладкой печей, был набожен, теплил перед домашней божницей лампады, не пропускал ни одной церковной службы, носил в крестных ходах иконы и хоругви, выбирая те, что поувесистее.

Потом для Петра Матвеевича наступило прозрение. Он вступил в партию и в союз безбожников, да не один, а с женой. Он страстно возненавидел старый мир. Собирал иконы, иконостасы и сжигал их на кострах. Он с полным правом может отнести к себе строку поэта:

«И я сжег все чему поклонялся»...

Вскрывал гробницы князей Ромодановских, схороненных в здешней Богоявленской церкви и причисленных молвой к святым. Торжествовал, находя вместо нетленных мощей обыкновенные кости. Сбрасывал с крутой горы в воду Мстерки могильные памятники.

Прошли годы. Петр Матвеевич попрежнему собирает иконы, но уже не для сожжения. Он научился видеть в них корни той современной миниатюрной живописи, образцы которой хранятся в его музее. Но, главным образом, он пользуется ими для антирелигиозной пропаганды. Он — ревностный приобретатель и зоркий сторож музейных вещей. Услыхав, что в такой-то деревне есть старая книга, икона или другое что, он идет в указанное место и выпрашивает у хозяев вещь для музея. Расстояние для него не имеет значения. Он так ушел в новое свое дело, так сжился с окружившими его вещами, что эти вещи наложили свою печать на весь его облик. Кажется, что тот холодок, который затаился в церковных стенах музея, застрял и в складках его пиджака. Кажется, что это сумерки музейного здания обесцветили его лицо, волосы.

Мы входим в церковный двор. На каменных плитах лежит лохматая дворняжка, дыша часто и жарко. Рядом бегают головастый и шаловливый щенок. Повизгивая, он доверчиво подкатывается к нам под ноги, — теплый комо-

чек с похожими на чернику глазами. Трудно удержаться от того, чтобы не погладить это ласковое существо с материнским молоком в глазах, — и мы по очереди касаемся руками его мягкой шерсти, а собака-мать смотрит на нас взглядом, выражающим и просьбу не обидеть ее ребенка, и благодарность за ласку к нему, и готовность броситься за него в защиту, в случае надобности.

В это время Петр Матвеевич открывает музей. Гремят пудовые засовы, визжит окованная несокрушимым железом дверь со следами полуисчезнувшей росписи.

У входа в музей-церковь Петр Матвеевич задерживается для объяснений. Он толкует о вросших в землю петровских пушках с каменным ядром на цепи, о литом железе, которым покрыта церковь, о прочности старинной кладки. Тут он обнаруживает знания и опытность специалиста по печным делам.

— Этим кирпичам триста, а то и четыреста лет. А смотрите какая крепость до сих пор!..

В музее холод и тишина склепа. Наши голоса и шаги будят в куполе гул неразборчивых отзвуков. В музее Петр Матвеевич словно мундир надевает — мундир важности и достоинства.

Серьезный и даже торжественный, Петр Матвеевич останавливается возле длинного ряда серых гробниц с останками князей Ромодановских, бывших властелинов Мстеры, и объясняет:

— С этих гробов темная масса в период весенней полевой кампании брала сырость и мазала себе глаза.

Сделав паузу, прибавляет:

— А сырости здесь и сейчас много.

Указывает на плиты пола с пятнами плесени:

— Вот мой банометр.

Мы догадываемся, что речь идет о барометре и разглядываем пятна.

— Эти пятна всегда к дождю появляются. По ним я

могу погоду предсказывать. Вот помяните мое слово — обязательно сегодня дождик будет...

Петр Матвеевич разворачивает громадные, как ворота, рукописные книги с цветными заставками, показывает старинные ризы из мешковины, из крашенины, из парчи, расшитой жемчугом.

Он надевает на голову заржавленный шлем с забралом — надевает его задом-наперед — и вразумительно говорит:

— Эта стрела предохраняла затылок человека от ударов меча.

А в отделе икон останавливает наше внимание на изображении Георгия-победоносца:

— Вот любимый святой старой буржуазии. Спас от змея царскую дочь. Знал, за кого оружие поднимать!.. Бедняков не спас бы.

Мы рассматриваем древние образа, деревянные скульптуры. Шелка и парчи монастырских вышивок иссеклись, перегорели от времени. Перед нами — застекленный ящик с костями Ромодановских, резьба старинных наличников, образчики здешней почвы и многое другое, что отличает Мстеру от прочих сел и городов. Перед нами — кладбище вещей, памятники жизни, которая прошла. Приходят на ум глухие времена княжеских уделов. Владимиро-Суздальская Русь. Темный лес шумел тогда на месте Мстеры.

Село Ковровского района, Кляземский городок, отделяют от Мстеры тридцать километров. Село Кляземский городок забыло ту далекую пору, когда оно было стольным городом Стародубом. Только в летописях осталась память о Стародубском удельном княжестве.

Ветвились княжеские роды. Уделы дробились на волости.

Из Стародубского княжества выделилась волость Ромодань, вотчина князей Ромодановских. Ромоданью, кре-

постной данницей Ромодановских, долго была и Богоявленная слобода, будущая Мстера.

Триста лет назад то место, на котором сейчас находится музей, уже не было дикой лесной чащей. Над светлой Мстеркой, над заливными лугами возвышался Богоявленский монастырь. Под белые монастырские стены приходили разорившиеся «непашенные» крестьяне, селились на здешней земле. Так появилась слобода, выросшая позднее в село. Владельцы Мстеры, князья Ромодановские, жили в столицах, получали через своих приказчиков и бурмистров с населения оброчные деньги и приезжали в свою вотчину только умирать. Хоронили их в фамильной усыпальнице, устроенной в той самой Богоявленской церкви, откуда сейчас мы смотрим в прошлое Мстеры.

Ромодановские служили при дворах царей, командовали стрелецкими полками, усмиряли восставших крестьян. Григорий Ромодановский был убит во время стрелецкого бунта в 1682 году. Труп его стрельцы волокли на Красную площадь, крича:

— Вот боярин князь Ромодановский! Дайте дорогу!

Но самой яркой фигурой в роду Ромодановских был Федор Юрьевич, начальник пыточного Преображенского приказа, «князь-кесарь» петровских «всешутейших и всепьянейших соборов». По свидетельству современника, был он «собою видом, как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни». Портрет князя, висевший над гробницами, как икона, дает верное представление о его наружности.

Кровавыми казнями и пытками князь Федор снискал себе недобрую славу. Даже буржуазный историк Ключевский назвал его «министром кнута и пыточного застенка».

Долго давила Мстеру власть Ромодановских и других помещиков. Несколько раз переходило село от одного дворянского рода к другому, как приданое княжеских и графских дочерей.

Малоземелье с давних времен заставило Мстеру развивать промысла. Основным делом мужчин была иконопись. Женщины занимались вышиванием и огородничеством.

В 1861 году в четырнадцать километрах от Мстеры прошла Нижегородская железная дорога, включив село в торгово-промышленную жизнь всей феодально-капиталистической России. Царская, дворянско-купеческая Россия строила кабаки и рядом с кабаками — церкви, «Владимирским богомазам», в том числе и мстерцам, хватало работы. Мстерская икона шла в Сибирь, на Кавказ, в Бессарабию, на Украину и т. д. Хозяева иконописных мастерских богатели сказочно. Иконописный промысел все больше принимал формы капиталистической промышленности, с разделением труда, с дроблением производственного процесса на целый ряд мелких работ и с эксплуатацией мастеров. Иконопись перестала быть искусством художника еще задолго до революции.

Осмотрев музей, прочитав по вышивкам, иконам и обветшалым грамотам историю Мстеры, мы выходили на воздух, на солнце, в парное материнское тепло дня. После сырого холода и полутьмы музейных стен — краски, звуки и запахи лета кажутся особенно приятными. Они возвращают нас к жизни, к ее радостному трепету.

Пока мы смотрели в прошлое Мстеры, прошел дождь. Его капли блестят в розетках травы, на цветах, которыми обсажена каменная дорожка от ворот к музею. Жужжат насекомые, освеженно и как-то радостно щебечут птицы. Небо чисто, будто вымытое блюдо.

И, как образ той теплой и трепетной сущности, которая зовется жизнью, снова у наших ног вертится давешний щенок, стараясь лизнуть шершавым алым языком руки Петра Матвеевича. Глаза, в которых расплылась капля материнского молока, глядят на мир так восторженно и шаловливо.

Где-то ворчит далекий гром.

РОМОДАНЬ

Весной и осенью мстерские мастера ходят в соседнюю деревню Слободку помогать колхозу «Красный пахарь» в севе и уборке: артель — шеф колхоза.

Деревня Слободка рассыпалась на пригорке по правой стороне Клязьмы, над сбегающими вниз посевами овса и ржи. От деревенской околицы открывается широкий и задумчивый вид на Мстеру и примстерье — луга и реки. Берег Клязьмы за деревней крут, высок, изрезан оврагами, оштетинился лесом.

А еще дальше по течению Клязьмы, около Архидьяконского погоста, он забирается на такую вышину, что отсюда видно на десятки километров.

Мы стояли на берегу среди редких зеленосизых кустов можжевельника. Внизу серебряным свитком лежала Клязьма. За ней разлетелись зеленые луга. За их ровным простором в несколько ярусов вздымались лесные опушки. И сквозь голубоватую мглу смутным намеком белели Вязники.

Великая тишина стояла над поймой. Этой тишины не нарушали ни крики чаек, ни гудок автомобиля, бежавшего под горой по белой извилистой ленте шоссе из голубого тумана Вязников. И мы чувствовали, видели летописную Ромодань, земли нищих закабаленных «смердов». Несколько веков назад по этой земле скакали татарские наездники, дважды разорявшие Стародуб. По ней шли поляки мстить жителям Кляземского городка за измену Лжедмитрию. Грабили, разоряли поселенцев Ромодани и русские князья. Дорого стоило право обрабатывать эту скудную песчаную землю.

Когда до мстерцев дошел освободительный манифест 1861 года, они ждали, что малоземелье Мстеры избавит их от выкупных платежей. В такой надежде и застал их приезд графа Панина, последнего владельца Мстеры.

Граф был в своем имении в первый раз от роду. Волостной старшина Гольшев, бывший вотчинный бурмистр, самовластный и мстительный, постарался сделать графу самый пышный прием. Большие живые стерляди, хорошие вина и ананасы были приготовлены за счет общества. Жители получили от приехавшего графа позволение целовать ему руку и щеку. После граф долго тер платком, намоченным в туалетной воде, те места, в какие его целовали.

Граф осмотрел имение, угодья, потом приказал собрать сход. На сходе он заявил, что желает оставить все в пользовании общества и притом на прежнем платеже оброка, — то есть, как это было раньше.

Мстерцы были поражены: в чем же тут реформа, освобождение, воля? Сход заволновался, зашумел. Послышались возгласы протеста, крики. Крестьяне указывали графу, что земли у них мало. Граф обиделся и с сердцем сказал:

— Я в вашем согласии не нуждаюсь. Вот обращусь в губернское по крестьянским делам присутствие, да и возьму в свою собственность третью часть удобных и доходных угодий...

Тут граф быстро удалился к себе и приказал готовить к следующему дню лошадей для отъезда.

Волостной старшина Гольшев постарался склонить крестьян к согласию на предложение помещика. Когда на другой день граф садился в карету, собравшиеся всем обществом крестьяне пали пред ним на колени. Граф спросил:

— Что это значит?

Мстерцы отвечали:

— Просим, ваше сиятельство, прощения за вчерашнее несогласие.

— Вы меня расстроили, — томно сказал граф: — я много хотел говорить с вами, но вы меня огорчили. Теперь прощаю вас, а для окончания дела пришлю управляющего...

Приехал управляющий графа для составления уставной грамоты. Поладили так: ценность всей слободы Мстеры была объявлена графом Паниным в 167 200 рублей, а мстерское общество обязалось выплачивать каждый год по 12 000 рублей «выкупных». Мстерцы платили в течение двадцати пяти лет, то есть выплатили 300 000 рублей, переплатив 132 800 рублей лишку.

Крепостное право кончилось для Мстеры на графе Панине. Но жизнь мстерцев мало изменилась, да и не могла измениться, ибо Мстера была селом Российской империи. И вплоть до Октября семнадцатого года Мстера оставалась в сущности той же мрачной Ромоданью, что и три века назад. Потому, что опромной Ромоданью была вся дооктябрьская романовская Россия.

Мы возвращались нагорной дорогой, — вернее без дороги, сбивая ногами необыкновенно крупные дождевики, белевшие в траве. Жаль было уходить отсюда. И мы все оглядывались, чтобы запомнить простор лугов, Клязьму, игрушечные колокольни дальних сел. Крутой тропинкой спустились в овраг, полный вечерних теней. Потянуло сырым холодком погроба.

Шли по неширокой береговой полоске. Клязьма текла, могучая и тихая. Плескались щуки. Человек в лодке зажигал огоньки баканов.

Со стороны Клязьмы к Слободке подступил молодой фруктовый сад. Со стороны Мстеры пред нею раскинулись хлеба. Мы шли хлебами. От дороги пахло сухой пылью. От ржи веяло затаившимся дневным теплом, похожим на душистое тепло горячего каравая.

Пред тем как спуститься с холма, мы остановились, чтобы еще раз взглянуть сверху на Мстеру и луга. Остановились и наши тени, косые и длинные.

Заходящее солнце сказочно окрасило тонкие мелкие облака, закрывшие почти половину неба. Казалось, кто-то гнал на ночлег стадо лилово-золотых баранов. Мы смотре-

ли на облака, на Мстеру, на пойму, тепло озаренную алыми широкими лучами. В общественном саду уже играл духовой оркестр, — и все словно прислушивалось к неясно звучащей музыке. Тут нам вспомнился рассказ Василия Никифоровича Овчинникова о покойном дяде.

Старик любил мстерское раздолье. Взяв краюху хлеба, уходил в луга на целые дни собирать травы, рыть какие-то корешки. Ему хотелось и смерть встретить не в избе, а в дорогих сердцу местах. Желание старика исполнилось. Поехал он в водополь на лодке за корешками — и не вернулся. После нашли его лежащим в лодке с пучком травы в заолодевшей руке.

Любят свою землю и нынешние мстерцы. Гордятся ею. Считают, что если где быть областному дому отдыха художников, так это у них, во Мстере.

— Какие у нас можно этюды писать! — говорят мастера. — И поудить есть где. И для охотника замечательные места найдутся. Диких уток у нас по Старице — стада!

И правда: хороша эта просторная земля, — уже не мрачная Ромодань, а родина новых художников. Она богата цветами, плодами, птицей, рыбой, красотой. За рекой Старицей в конце мая травяное подножие леса густо капано ландышами. Проходящую здесь Аракчеевскую дорогу обстали матерые вязы и березы. И не эту ли землю разбуженных сил пишут мастера Мстеры на своих лаковых коробочках?

Быльем поросла старая черная Ромодань!

СТАРАЯ МСТЕРА

К революции Мстера подошла в облике российского захолустья — ни городом, ни деревней. Подошла с торговыми рядами, с питейными заведениями, с заводами и мстерскими купцов-хозяев.

Давно уж мастера перестали крестьянствовать и перешли на иконопись. Жили в каком-то искусственном, своеобразном мире, где и язык был свой, иконописный. Очень характерный для старой Мстеры анекдот рассказал нам артельный художник Александр Михайлович Меркурьев:

— Сидит у реки удак иконописец. Мимо идет крестьянин с уздой. Спрашивает:

— Не видал ли лошади?

— Видал цвета «санкирь с белильцем» проходила тут. Твоя?

— Моя-то гнедочалая. Гнедочалой не видал?

— Нет. Вот под цвет «санкиря» видел, а по «санкирю» белильца пущены...

— Так и не поняли, что про одну лошадь толковали, — пояснил Александр Михайлович? — «санкирь» — это темнокоричневый тон, а «санкирь с белильцем» — как раз и будет гнедочалая масть.

Трехконные домики Мстеры перемежаются двухэтажными каменными домищами-крепостями. Возле — присели кирпичные палатки с тяжелыми калачами замков на железных дверях, с частыми решетками в окнах. В домах-крепостях жили купцы и хозяйчики-иконники: Крестьяниновы, Фатьяновы, Тюлины. В палатках хранилось «добро», стояли прохладные, обросшие пылью четвертные с ягодными настойками — обязательное угощение при сделках с тароватыми офенями, развозившими иконы по России.

Купцы были богомольны и скаречно скупы. Любили патриархальную простоту нравов. По субботам хлестались в бане крапивою. После бани в длинных, подпоясанных под мышками рубахах и нанковых подштанниках благодумствовали на лавочках, снисходительно кивая в ответ на низкие поклоны проходящих. Любили почет хозяева!

Подходила бедная вдова, униженно просила принять сына-мальчика в обучение.

— Ладно, Петровна, приводи. Выучим поля крыть, олифить, грунтовать, — будет мастер.

Ученика брали на три, на четыре года. В это время мальчуган употреблялся для услуг мастерам. Растирал краски, бегал за табаком, прибирал мастерскую. По истечении срока, на который был взят ученик, ему назначали жалование: от пяти до двенадцати рублей в год. Только с этого момента он начинал работать.

А мастеров хозяева тоже держали в черном теле. Осенью, когда дни шли на убыль, хозяин устраивал для рабочих своей мастерской «засидки» — праздник, продолжавшийся иногда два-три дня с вином, песнями, плясками. А после «засидок» хозяин начинал выжимать из мастеров выпитое и съеденное на праздниках. Мастера вставали на работу в четыре часа утра и гнули над иконами спины до семи вечера. Ученик иконописной мастерской Алексей Пешков, живший «в людях», из Палеха, Мстеры и Холуя хорошо запомнил мир олифы и красок с его особенностями:

«Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната от трех окон во двор и двух — в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иным — по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары, налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя и Мстеры; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в

опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц».

«Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, неспособных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор, дощечники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников!»

«Когда «тельце» написано личником, икону сдает мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионович, тихий человек».

Мастерская, описанная Горьким, типична не только обстановкой, но и тем разделением труда, которое превратило иконопись в цепь механических процессов, а иконописца — в живую машину. С такой работы можно было затосковать, запить. Пили во Мстере много. Допивались до «каторги» иконника Д. Ханихина, речь о которой будет впереди. Досуг коротали за картежной игрой или столь же «глубокомысленными» занятиями.

Был в одной из мастерских маленький худой столяр, которого все звали Яшкой. За гривенник Яшка позволял бить себя по голому животу поленом. Били. Дивились крепости яшкиного живота. Гривенники Яшка немедленно пропивал.

Те, кто не пил, откладывали каждую заработанную копейку, недоедали, старались «выбиться в люди». Но ко-

пить было трудно. Хозяева любили платить товарами, которые получали от офеней в уплату за иконы. Товары отдавались мастеру по завышенной цене. Большею частью, это была бакалея: чай, сахар, мыло. На рынке мастер мог купить все это дешевле, но расчет производился перед праздниками и приходилось выбирать одно из двух: или получать товары, или оставаться на праздники без денег. Зубами скрипели, а брали.

Особенно низко оплачивался труд иконописцев, имевших дело с дешевой фольговой иконой, на которой писались только лица и руки, а все остальное закрывалось фольгой или золоченой бумагой. В предвоенное время во Мстере появились целые заводы этой ходовой иконы. Фабрикант-иконник Крестьянинов установил у себя штамповальные станки.

Производство икон переходило к машинам. Заработок иконописца падал все ниже. За сотню дешевых икон — «листоушек» хозяин платил иконописцу 60—75 копеек. Чтобы не умереть с голоду, нужно было написать не менее двухсот маленьких икон в неделю.

Капиталистическая техника мирно уживалась с патриархальными навыками купцов. Все делалось по-семейному, по-старинке, с молитвой. Конторские книги клееночной фабрики каждый год начинала сама хозяйка, писавшая на первой странице: «Господи, благослови! П. Козлова».

С этим молитвенным воззванием книга шла в фабричную контору или, может быть, к мастеру, писавшему штрафы. А штрафовали на клееночной так:

I. За прогул:

За половину дня — 25 коп.

За один день — 50 коп.

II. За нарушение порядка:

За опоздание свыше 10 минут — 15 коп.

„ отход от работы без дела — 15 коп.

„ самовольный выход из фабрики — 25 коп.

- За спанье или дреманье за работой — 15 коп.
- „ сиденье и шалости во время работы — 25 коп.
- „ оскорбление лица фабричного управления — 50 коп.
- „ чтение книг и газет — 25 коп. и т. д.

С божьим именем выколачивали мстерские хозяева гривенники и рубли из своих рабочих.

По праздникам правили службу в собственных моленных, установленных богато убранными иконами старых писем.

Помнят во Мстере привольную купеческую жизнь. От дорогой одежды, роскошной мебели, редкой посуды ломились дома и палатки. На маслянице щеголяли купцы чистокровными рысаками, воздушными изящными санками. В великий пост устраивали гусиные бои. Сводили двух отборных тренированных гусаков. Бились об заклад: который выйдет из боя победителем. Когда бойцы утомлялись, к ним для поддержания бранного пыла подпускали гусыню, и ее голос вливал в сражавшихся новые силы. На пасхе гусиные турниры сменялись картежной игрой. По трое суток подряд без сна и отдыха могли играть и пить мстерские хозяева.

Забавлялись и иначе.

Ходили по Мстере два дурачка: Силантьич и Иван. Подучили их лавочники пачкать дегтем платья проходящих девушек. Дурак брал мазницу, подбегал к ничего неподозревавшей франтихе и брызгал на нее дегтем.

— Окропляется раба божия.

Девица бранилась, плакала. Торгаши, выглядывая из своих лавок, хохотали.

КУПЦЫ

— Вон в этом доме на пригорке жил мучник Панкратов, — сказал Александр Федорович Котягин.

Гуляя, мы переходили базарную площадь. Был тот

час, когда старушки, сидя на лавочках, вспоминают прошлое. О прошлом села говорили и наши спутники, Котягин и его сосед — часовщик Михаил Федорович Лабутин, человек средних лет и городского вида.

Хозяином двухэтажного белого дома, на который показывал Котягин, был теперь наробраз. В закоптевшей от свечек и лампад моленной двухэтажного панкратовского дома, за ее кованной дверью, стоят шкафы школьной библиотеки.

Скуп был купец Панкратов. Держал лошадь и корову. В базарные дни выгонял их за ворота на площадь, где валялись клочья натерянного крестьянами сена: пусть едят, свой корм целее будет.

— Помню и я Панкротова, — сказал часовщик: — висели у него в доме огромные часы, чуть ли не петровских времен. Приносит панкратовская кухарка Марья эти часы моему отцу (сам я в то время был еще мальчишкой). Валится отцу в ноги. Отец смущается:

— Что ты, Марья? Встань!

— Не встану. Почини часы.

— Починю. Как же не починить? Людям чиню и вам сделаю.

— Да нам бы бесплатно.

— Неужели-хозяин-то твой не заплатит?

— Да ведь знаешь, какой он у нас.

— Ладно, оставь часы.

Марья уходит. Часы остаются у нас в мастерской. Отец говорит мне:

— Минька, займись часами. Что получишь с Панкротова, себе возьмешь.

Я занялся. Починил. Иду с часами к Панкратову. Вхожу в дом. Хозяин сидит за столом. Острижен в скобку. Борода лопатой. Длинная рубаха, нанковые штаны. Меня будто и не видит. Проходит минута, другая. Я кашляю. Панкратов взглядывает на меня:

— Тебе чего?

— Вот часы принес, Митрий Ондрич.

— Ладно, положи на стол.

Положил. Стою. Панкратов опять будто не замечает меня. Кашляю.

Панкратов вскидывает голову:

— А, ты еще тут? Ну, чего тебе?

— Деньги получить.

— Какие деньги?

— За часы.

— Сколько тебе?

Собравшись с духом, говорю:

— Пятьдесят копеек.

(А с людей за такую же починку брали семьдесят).

Панкратов вскакивает, кричит сердито:

— Ах, ты, разбойник! Пятьдесят копеек! Креста на вас нет. Вот я тебя!

Он — за мной. Я — от него.

Дня через три прихожу опять.

— Чего тебе?

— Деньги за починку.

— Сколько?

— Сорок копеек.

— Ну, ладно. Идем в лавку. Заплачу товаром.

В лавке дает мне кусок мыла, — цена ему в то время была две копейки.

— Вот тебе покуда. А то еще придешь.

В следующий раз получил я восьмушку чаю. Сходил еще раза два, забрал товару копеек на двадцать пять, да и плюнул:

— Подавись ты моими деньгами!..

Мы прошли Мстеру, зеленую Гольшевку, шли селом Татаровым по широкой аллее мимо вековых берез, мимо большого фруктового сада, которым прежде владел земский начальник Протасьев, а теперь — татаровский кол-

хоз. Горько благоухала омытая дождем листва. В теплом сумеречном воздухе ныли комары.

Протасьев ходил в сюртуке, но штаны носил нанковые. В этом он был настоящим мстерцем. Мстерские богачи надевали брюки только в торжественных случаях, отправляясь в церковь или в гости, и считали эту часть костюма стеснительной роскошью.

Однажды мучник Шорин в парадном сюртуке и брюках сидел у богатого иконника Крестьянинова, тоже нарядившегося для дорогого гостя. Пили чай. Вдруг погасло электричество.

Когда оно зажглось снова, купцы посмотрели друг на друга и расхохотались. Брюк на них уже не было. Аккуратно расправленные брюки висели на спинках стульев. Крестьянинов сидел в нанковых подштанниках. Синие волосатые ноги Шорина были голы.

— Ну, Осип Федорович, — сказал Крестьянинов гостю, — за тобой не угоняешься. Я бережлив, а ты еще бережливее меня... И на кальсонах экономишь!..

Наша обратная дорога проходила как раз мимо дома, в котором, если верить молве, происходило описанное анекдотическое событие. Огромный, красиво отделанный дом Крестьянинова стал в революцию рабочим клубом. Теперь художники хотели сделать его Домом социалистической культуры.

Мы стояли под навесом торговых рядов, там, где когда-то торговали Шорины и Панкратовы. Небо опять затянулось облаками. Накрапывал дождь. В сумерках вспыхивали синие отсветы дальней грозы.

Котягин говорил, показывая рукой:

— Видите в конце площади, за трибуной, белый дом? Тоже купеческий. Хозяин его был недалекого ума человек. Он не умом — другим брал: умел здороваться. Раскланивался он, как артист на сцене. Если увидит, бывало, знакомого, то снимает свой купеческий картуз шагов за

пять. Руку с картузом отнесет как можно дальше и обведет ею вокруг себя — вот этак...

Тут Александр Федорович нагнулся и вычертил в мгlistом воздухе полукруг.

— А лицо — деревянное, без улыбки. Так и видеть, что старик кланяется не ради того, чтобы других почтить, а чтобы собой полюбоваться и прослыть «уважительным человеком»...

— Мы, мальчишки, бывало, нарочно с ним здоровались — сказал Лабутин. — Для смеху крикнешь ему: «Здравствуйте, Федор Пахомыч». А он так-то и раскланяется. Потеха!..

С закатом солнца площадь старой Мстеры будто вымирала. Накрепко запирались ворота обступивших купеческих ее домов-крепостей. На окованных железом дверях магазинов повисали нудовые замки. Хозяева, покончив с делами, торопливо ужинали и заваливались в душные пуховики. Купеческие сынки лезли в окошки на улицу, наказав прислуге:

— Ты, Василий, не запирай окно на ночь...

По дворам на цепях прыгали свирепые псы.

О Ф Е Н И

Кроме иконописи, население мстерского края промышленяло офенством — продажей в развозку и в разноску книжек, лубочных картинок, галантерейной мелочи и особенно икон. Мелкие офени, ходившие с коробом дешевого своего товара за плечами по селам и деревням, назывались еще ходебами или коробейниками.

Семьдесят слишком лет назад по одной из ведущих в Мстеру дорог ехал поэт Некрасов. Его коробейники могли быть написаны и о здешних ходебах. Коробейники — офени теперь работают в колхозах. Ходобы мстерского края коробейничали от малоземелья. Запасшись товаром,

ходеба с коробом на плечах шел по селам и деревням. В коробе лежали мануфактура, галантерея, парфюмерия. Тут были «ситцы и парча», пояски и «ленты алые для кос».

...Есть у нас мыла пахучие
По две гривны за кусок,
Есть румяна нелиночье —
Молодись за пятачок.
Видишь, камни самоцветные
В перстеньке, как жар, горят,
Есть и любчики заветные —
Хоть кого приворожат.

Икон в коробе не было. Икону распространяли более крупные офени, торговавшие в развозку. Офенство находилось в тесной связи с развитием во Мстере иконописного промысла. Крупные офени развозили мстерскую икону по всем уголкам России. Как только устанавливался санный путь, офеня, увязав воз с товарами, отправлялся в дорогу. Обыкновенно выезжали вдвоем: хозяин и работник с лошадью. Ехали снежными полями, седыми лесами, от деревни до деревни, от города до города. Ни вьюги, ни морозы не останавливали торговцев. Иные офени забирались очень далеко: в Сибирь, на Кавказ, в Туркестан, а были и такие, что, перебравшись через границу, разъезжали по Сербии, Болгарии и Румынии. Офенская торговля велась не только на деньги. Офени выменивали книжки и иконы на лен, холст, хлеб, мед, сушеные грибы, сено, дрова. На офенском промысле богатели не офени-ходебщики, а небольшая кучка оптовых торговцев, у которых ходеба забирал товар часто в кредит или под залог разных вещей. Эта кучка держала в кабале всю офенскую мелкоту.

У офеней был свой искусственный, «кантюжный», «аламанский» язык — загадка для историков и лингвистов. Оказывается, русские коробейники, сами о том не подозревая, употребляли в разговоре много греческих слов. Как запали в живой говор мстерских ходебщиков звуки гомерово́й речи? Подобрали ли их офени у греческих куп-

цов во время своих странствований к Азовскому поморью, или сами греки завезли их в Русь тысячелетие назад?

Семенами одуванчика разнес некогда ветер истории по миру богатства византийской культуры. От Византии пошла наша древняя живопись. Тысячу лет назад к полудиким славянам ехали сухие и смуглые греческие попы, зодчие, иконописцы, торговцы. Под русским небом зазвучала полуденная молва. Давно прошла та Русь и Византия. Но слово осталось жить. Греческие слова в говоре офеней смешались с переименованными русскими, а то и вовсе вымышленными. Двое офеней при чужих, где-нибудь на постоялом дворе разговаривали между собою так:

— Ропà кимать... Полумёркать...

— Да, рыхлò закурещат вороханы.

Это значило:

— Пора спать... Полночь...

— Да, скоро запоют петухи.

Офени, торговавшие иконами в развозку, распродав их, на обратном пути накупали товаров, которые было выгодно продавать дома.

Самым прибыльным товаром были старинные иконы.

Среди пыльного хлама, с незапамятных времен лежавшего где-нибудь в темном углу сельской колокольни, попадались древние образа большой художественной ценности. Офени скупали их за бесценок. Во Мстере старина стоила дорого. На старине можно было хорошо выручаться.

Появились специалисты по добыванию старины, офени-старинщики.

СТАРИНЩИКИ

Мстерские купцы были старой веры. Держали связь со всем старообрядческим миром. Миллионеры-старообрядцы Савва Морозов, нижегородский мукомол Бутров и другие платили за старинную икону бешеные деньги.

Работавшая на старообрядцев Мстера стала всероссийским рынком древних икон. Офени-старинщики возами доставляли их сюда из Архангельской, Вологодской, Новгородской губернии.

Торговля старой иконой была выгодна. Иконники-реставраторы перекупали у офеней старину и уже от себя с барышами продавали ее староверским воротилам. Иконники, поджидая офеней-старинщиков, ставили на дороге заставы. Зачастую встречали старинщиков у вагонов, чтобы купить товар без конкуренции. Сплошь и рядом покупали чохом целый воз из-за одной-двух ценных икон. И этими двумя иконами оправдывали все расходы.

Василий Никифорович Овчинников одно время работал в реставрационной мастерской московского антиквара Шибанова. Считался знатоком старой иконы.

Древность и подлинность икон узнавали по разным признакам. По письму. Но так как живопись можно было виртуозно подделать, то, покупая икону, глядели и на ее оклад, и на поля. Главным же образом распознавали возраст иконы по доске — по ее «затыли», то есть задней стороне. Смотрели на шпонки, на ковчежец-углубление с задвижкой в затыли доски. Встарину столяр долбил доску долотом, не зная другого инструмента.

Для того чтобы с первого взгляда определять, что — древность, а что — подделка, нужно было иметь чутье и опыт.

Антиквар Шибанов верил в нюх Василия Никифоровича. Посылал его к офеням-старинщикам для закупки товара.

Василий Никифорович садился на поезд и ехал во Мстеру. Случалось так, что вместе с ним с поезда сходили другие перекупщики старины. Василий Никифорович скорее нанимал подводу и наказывал кучеру:

— Гони как можно шибче. На чай получишь.

Кучер гнал.

Конкуренцы старались опередить Овчинникова. Начиналась дикая скачка. Мелькали кусты, деревья. Тарантас дребезжал и подскакивал. Бока лошади покрывались потом. Тут Василий Никифорович пускался на хитрость. Он сворачивал с большой дороги в деревню Рыкино, откуда взята Анна Тимофеевна, и ехал во Мстеру другим путем. Преследователи, видя, что соперник свернул в сторону, успокаивались и ехали не торопясь. Овчинников попадал во Мстеру первым, сразу шел к старинщику и закупал иконы.

— Те приедут, аи все уж запродаио, им ничего не осталось, — рассказывает Василий Никифорович.

Бывали и неудачи.

Однажды Овчинников поехал с сыном иконника Дикарева Михал Михальчем в Троице-Сергиевскую лавру. Надо было перехватить старинщика, не допустить его до Москвы. Приехали. Сняли номер в гостинице. Выходили на станцию к поездам, пробегали по вагонам, старинщика не видали. При хозяйском сыне было три тысячи рублей денег. Начал Михал Михальч покучивать. Напившись, «без задних ног» лежал в номере. Василий Никифорович оберегал пьяного Михал Михальча и хозяйскую казну. Старинщика опустили. Проехал мимо и продал товар в Москве.

А то бывало так, что старинщик сам уведомлял с дороги хозяина-антиквара, когда и на каком поезде приедет. Хозяин высылал к поезду своего доверенного по закупке икон. Выходил из вагона старинщик. Волосы под картузом острижены по-староверски — в скобку. Борода — венником. Сборчатая поддевка. Смазные сапоги с калошами. Старинщик здоровался с хозяйским доверенным и вручал ему конверт. Доверенный понимающе клал конверт в карман. Хрустели в конверте кредитики. Хозяйский доверенный и приезжий шли под вокзальные пальмы. Старинщик заказывал угощение. Угощаясь, говорили о разном. Обо

всем, кроме дела. Деловой разговор начинался много позднее — обычно на другой день. Перебирали привезенный товар. Отбирая иконы, доверенный старался и хозяину услужить и старинщика не обидеть.

Василий Никифорович рассказывал:

— Накупит Шибанов икон. Мы сидим, расчищаем, чтобы узнать, какая икона старинная, а какая только написана под старинку. И сам хозяин тоже сидит возле нас. ждет результата. Спрашивает:

— Можно посмотреть?

Скажешь:

— Подождите, Пал Петрович.

— Долго?

— Нет, не особенно.

— Ладно, подожду...

Расчистишь побольше, говоришь:

— Теперь, Пал Петрович, можно смотреть.

Зажмурится, растопырит руки, идет по мастерской ощупью, как слепой:

— Ну, где?

— Здесь, Пал Петрович, вот здесь.

Раскроет глаза:

— Эта? Хороша, очець хороша. Ладно, ставь ее, Никифорыч.

Ставишь расчищенную икону в ряд других старинных, назначенных к продаже. Радовался Шибанов. Очень выгодны были ему старые иконы. Помню, продали Савве Морозову пять иконок по двадцать пять тысяч за штуку. Целый капитал!..

Произведения древнего искусства в руках предприимчивых дельцов становились средством обогащения.

Мстерский воротила Крестьянинов вместе со всеми покупал и перепродавал старину. Принес ему какой-то человек семивершковую, темную от лампадной копоти икону. Человек купил ее у деревенской старухи в Архангельской

губернии. Заплатил пятак. Крестьянинов дал за икону десять рублей: письмо было настоящее новгородское. Человек уходил довольный.

Крестьянинов оповестил старообрядческих миллионщиков:

— Есть редкая икона.

Приехал из Нижнего Бугров.

— Ну, Василий Семеныч, показывай свой товар.

Вывес Крестьянинов икону и показал гостю с затыли:

— Глядите.

Посмотрел мукомол. Помолчал.

— Теперь покажи с лица.

— Лицо покажу, когда в другой раз приедете.

— Думаешь, приеду еще раз?

— Уверен.

— Увидим.

После Бугрова смотрел икону Рябушинский. Приценялся. Дорога показалась ему икона: двадцать тысяч назначил за нее Крестьянинов.

И еще раз приехал Бугров.

— Ну, кажи лицо, Василий Семеныч.

Опять вывес Крестьянинов икону. Показал теперь и с лица. Сразу оценил Бугров товар. Однако начал торговаться:

— Несуразную цену просишь, Василий Семеныч. Самто за сколько купил?

— Врать не стану: купил за красенькую, а с вас желаю взять двадцать тысяч.

— Скинь.

Уперся Крестьянинов.

Отдал Бугров деньги. И вот встала пятактовая икона на архангельской старухи в золотой иконостас потайной купеческой моленной, за железные двери с тяжкими затворами.

А Крестьянинов, заплативший за икону красненькую, положил в карман ровно девятнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей барыша.

Так рассказывают в Мстере.

Купцы покупали и продавали. Но настоящими владельцами древнего художества оказались не Крестьяниновы, не Бугровы, а те, кто расчищал творения старых мастеров, реставрировал, изучал их, — нынешние народные живописцы.

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

В садах поспевали яблоки: густозеленые, желто-розовые, бордовые в коричневых родинках и веснушках.

И наш прохладный дом наполнился медовым яблочным духом. В комнату вошел неслышно босыми ногами темноглазый, с выгоревшими волосами Шурик Антоновский.

Белая ситцевая рубашка оттеняла его загорелое лицо и почти черные, загрубелые коленки. Шурик нес клеенчатую, распираемую яблоками, сумку. В свободной его руке была зажата записка отца.

Художник Антоновский писал о том, что «в честь глубокой признательности» посылает своим друзьям «благодарные дары красавицы-природы», — плоды своего сада.

И приглашал всех к себе на уху.

Вечером в домике на Комсомольской, бывшей Оганькиной горе, собрались Брягин, Модоров, Овчинников, Бороздин и другие мстерцы. В комнате Антоновского стало тесно, нехватало стульев. Шурик и его товарищи принесли мебель от соседей. Комната безногого художника, несогретая, необласканная женскими руками коробка, ожила и повеселела.

Пред этим Федор Васильевич купил стерлядей. Он предлагал отправиться в сад и сварить там уху. Гости

от ухи отказывались. Хозяин настаивал. После пререканий уху решили сварить, но не в саду, а в лежанке.

Вечер наступил холодный и темный. Засветили лампу. Затапили лежанку, ту самую, на плите которой чуть не сжегся, закрывая трубу, Федор Васильевич.

Стряпал сам хозяин. Ему помогали Овчинников и Бороздин, артельный живописец со светлыми глазами на белом без загара лице, одетый в серую блузу. В комнате пахло яблоками и одеколоном, которым после бритья надушился Антоновский. Пока варилась уха, Федор Васильевич играл на гармошке. Встряхая своей львиной головой читал из тетрадки о мастерах Мстеры.

Тяжел был путь их от иконы —
Казанской, спаса, но они
Его прошли и всей артелью
Вступили в творческие дни.

А больно, жутко даже вспомнить,
Что приходилось видеть мне,—
Как спину гнули на хозяев,
Губя себя, свой дар в вине.

Теперь не то. Старик наш Клыков
Стал, как художник, знаменит.
В произведениях прекрасных
Он отражает новый быт.

Восьмой десяток лет трудится
Водя он кисточку рукой,
И так работает чудесно,
Что позавидует любой.

А Брягин, мастер бесподобный
По гамме радостных тонов,—
Он пишет кисточкой искусной
То теплый юг, то „Сбор плодов“.

За ним Овчинников Василий
Колхозный прославляет труд —
Как в пойме сено убирают,
Как на возы его кладут.

Котягин каждого пленяет
Своею красочной игрой.
Он любит сказки и былины,
Колхозный сад, пчелиный рой.

Серебряков — преподаватель,
Он кадры юные кует
И новое искусство Мстеры
Ученикам передает...

Сварилась уха. Сидели вокруг выдвинутого на середину комнаты стола. От тарелок поднимался кудрявый пар. Откуда-то появилась бутылка вина. Наполнив рюмки и стаканчики, Федор Васильевич своим металлически звенящим голосом крикнул:

— Я предлагаю всем выпить за искусство Мстеры.

— Можно, — бодро откликнулся Овчинников, — за это можно выпить: дело любезное, а не подневольное.

Выпили. Этот маленький пир художников ничем не походил на то мрачное пьянство иконописцев, о котором упомянул в своем стихе Антоновский. От вина никто не захмелел. Принялись за уху. Места за столом не всем хватило и потому уху ели по очереди.

Александр Иванович Брягин, широкогрудый, в белой рубашке, заложив пальцы рук за узкий пояс, стоял возле черного окна. Его лицо тонуло в полумраке. Брягин сказал:

— Вспомнился мне сейчас наш бывший хозяин Гурьянов. Невзрачный был мужичонко, а какой злой! Пришел раз к нам в мастерскую один палешанин. Говорит: «Мне бы хозяина увидеть». Гурьянов встал с места: «Я — хозяин. Чего тебе?» (Он всегда говорил не «тебе», а «тее».) Палешанин взглянул на него, тощего, и не поверил: «Полно смеяться-то!» Гурьянов рассердился: «Что же, батенька мой, уж не пачпорт ли тебе показать?..» Мигнул: «Ну-ка, Иван!..» Подошел Иван, здоровенный детина, взял палешанина за плечи, повернул лицом к двери, толкнул — и загремел палешанин с лестницы...

Александр Иванович своим рассказом как будто дорожку показал другим для разговора. Все наперебой начали вспоминать московских и мстерских хозяев, у которых пришлось работать, иконописный быт, мастеров, учеников, разные случаи.

— А Шитов, — начал Василий Никифорович Овчинников, — это был один из адютов по всему Мстерскому району... Я шесть лет у него работал. Мастер был, слов нет, а самодур. Жену свою Дусю бил почем зря, на мороз выгонял в одной рубашке...

И еще рассказал Василий Никифорович о том, как один из молодых мастеров, прогуляв ночь, днем все задремывал над работой. Голова поникала, ресницы слипались, кисть в руке останавливалась. А спать было нельзя. Рядом с мастерами сидел сам хозяин Шитов, писал икону и в то же время следил, работают ли другие. Василий Никифорович для таких случаев приготовил палку с иглой на конце. Как только гуляка начинал клевать носом, Овчинников, не вставая с места, незаметно для хозяина протягивал руку к палке и колот слегка товарища иглой. Тот просыпался. Кисть начинала двигаться. Через минуту снова застывала. Шитов подозрительно глядел сквозь очки на гуляку.

— Михайло! — кричал он.

Василий Никифорович незаметно протягивал руку к палке. Уколотый Михайло вздергивал голову.

— Что, Василь Осипыч?

— Ты спишь, бесов сын?

— Нет, Василь Осипыч, вам показалось.

— Показалось... — говорил Шитов, разглядывая измятое лицо Михайлы.

Говорили о Гурьянове, о других иконниках. Как они таскали учеников за волосы, как через своих шпионов и доносчиков следили за тем, что делалось в мастерской.

Модоров, весь в белом и просторном, сидел у стены

на кровати. Он управлял разговором, как дирижер оркестром. Вспоминал сам и вызывал на воспоминания остальных.

Резкая черта пролегла по биографиям поколения. И то, что было за чертой, казалось происходившим с кем-то другим в какой-то другой стране.

— А помнишь, Федя, гурьяновскую сестру Груню? — спросил Антоновского Модоров, держа в руке закусенное яблоко.

— Это которая в замочную скважину подглядывала?

— Та самая.

— Еще бы не помнить, — сказал Антоновский. — Мы один раз какую штуку с ней устроили? Надоело нам ее подглядыванье. Решили отучить старуху от шпионства. Приготовили соломинку. Слышим, крадется по коридору к мастерской, присела, дышит за дверь. А в это время у двери притаился с соломиной наготове кто-то из мальчишек-учеников. Как только она приставила к дыре свой желтый глаз, он ка-ак ткнет соломиной!..

При этих словах Федор Васильевич ткнул в туман табачного дыма и пара указательным пальцем. Палец был запачкан химическими чернилами.

— Она как охнет! И зашлепала туфлями от двери. На другой день глядим, — ходит с завязанным глазом. Смеху-то было!..

Засмеялись все и теперь, представив себе окривевшую Груню.

Рассказал Федор Васильевич и другое, — как сполохи пятого года зажгли его сознание. Ходил с такими же, как сам, на массовки. Раз толпа разбила на Петровке оружейный магазин. Антоновский из окна передавал публике оружие. И себе взял револьвер. Налетели казаки. Все побежали прятаться по дворам. И он бежал с другими, ощупывая в кармане сталь револьвера и жалея, что не успел зарядить.

А с хозяином Гурьяновым разговаривал зуб за зуб.

И когда схлынула революционная волна, выбросил его поставщик двора из мастерской с волчьим билетом...

— Ну, да и ему в революцию пришлось не сладко.

Глаза Федора Васильевича блестели. Оживились и все. За воспоминаниями время летело незаметно.

Было поздно, когда гости начали прощаться с хозяином. Светя спичками, спускались с высокого крыльца. И сразу из освещенной, жаркой, полной звуков комнаты попали в черную прохладную ночь — в такой непроницаемый мрак, что его, казалось, можно было осязать и хотелось раздвинуть руками. Улица спала мертвым сном.

Освещенное, яркожелтое окно комнаты, в которой мы только что были, как будто висело в плотной черноте ночи. Вдруг из него показалась голова Антоновского, высунулось его туловище. Федор Васильевич протянул во мрак сверкнувшую белизной тарелку с румяными яблоками.

— Возьмите на дорожку, — крикнул он своим звеняще-певучим голосом.

Окно висело в темноте над нашими головами, как картина на черной стене, как оживший портрет Антоновского. Гости взяли по яблоку.

И еще раз Федор Васильевич, свесившись с подоконника, влажной своей рукой долго и крепко пожимал наши руки, как бы не желая отпускать гостей домой:

— Приходите опять! Обязательно!

И К О Н Н И К И

I

Вот что вспомнили мастера в гостях у Антоновского и в другие дни и вечера о прежних хозяевах и работе на них.

Было иконописно-босаяцкое дно: мастерские «каторга» Митюхи Ханихина и «вольное поселение» Сосина.

На «каторгу» шли опустившиеся, спившиеся от нужды и тяжелого труда люди. Работали здесь за гроши. Не помесячно, а поденно. Заработок тотчас же пропивался.

«Каторга» помещалась в ветхой, вросшей в землю, избе. Это было мрачное логово, что-то вроде преисподней, какой изображали ее иконописцы в церковных притворах. И недаром ходили по Мстере слухи, что в мастерской Ханихина черти живут, что по ней сами ходят кринки и летают молотки. С пьяных глаз и не то еще могло померещиться работающим на «каторге» растерзанным фигурам с опухшими лицами и сильными шопотными голосами.

В мастерской пахло тухлыми яйцами, олифой, махорочным дымом и винным перегаром. В маленькие, почти на земле лежавшие, окошки с трудом пробивался свет дня, обнажая грязь, копоть, лохмотья, освещая лиловые носы, мутные воспаленные глаза в подглазниках, всклокоченные волосы. Под низко нависшими потолками «каторги» тесно сидели в три ряда люди в фартуках из мешковины и опорках: столяры, чеканщики, грунтовщики, иконописцы.

Мастерская Сосина немногим отличалась от ханихинской. Она была предпоследней ступенькой лестницы. И если в царской России осужденные, отбыв каторгу, выходили на поселение, то во Мстере было наоборот. Кто поступил к Сосину, того ждала «каторга» Ханихина. Конечно, здесь не могло быть и речи об искусстве. Иконный товар Ханихина и Сосина вполне подходил под пословицу: «не годится молиться — пригодится горшки покрывать».

II

Василий Никифорович Овчинников, Александр Федорович Котлягин и Николай Прокофьевич Клыков работали в мастерской Шитова; Григорий Тимофеевич Дмитриев — у Мумрикова.

В этих мастерских писалась дорогая, стильная икона. Здесь блюлись традиции древней живописи. В скрещении старых стилей здесь выработывался свой, самостоятельный иконописный стиль, элементы которого позднее вошли в мастерскую миниатюру.

Иконник Мумриков хорошо знал рынок и его запросы. Предприятие Мумрикова было «одним из самых гибких к стилистическим требованиям». Шитов сам писал иконы. Был хорошим мастером. Спрашивал хорошей работы и с других. Когда икона ему не нравилась, заставлял иконописца переделывать ее. За переделку приходилось доплачивать, это взыскательность строгого мастера пересиливала в Шитове хозяйскую скупость. Мастерская Шитова была своеобразной школой, из которой выходили умелые мастера, знакомые со стилями и техникой реставрации.

— Мы там получали заучку и мастерское воспитание, — вспоминает один из живописцев шитовской школы, член художественной артели.

Но и в Шитове прорывались повадки хозяина-самодура.

Кончив работу, мастера прислоняли недописанные доски к стене и уходили домой. Иконы, по обычаю, ставились живописью к стене, а затылью были обращены внутрь комнаты. Как-то раз Шитов, взяв одну икону, увидел, что богородица стояла вниз головой. Будучи набожным, он усмотрел в этом кощунство:

— Ах, бесов сын Федька! Божью мать вверх ногами поставил. Самого бы его так-то. Да, самого бы так!

Эта мысль понравилась Шитову.

— А что, ребята, — обратился он к собиравшимся расходиться мастерам, — поставим Федьку вверх ногами?

Охотники услужить хозяину нашлись.

На утро едва Федька успел войти в мастерскую, как был схвачен и поставлен головой на пол, ногами — к потолку.

— Что, хорошо так-то стоять? — укоризненно говорил Шитов, разглядывая побагровевшее лицо Федьки, которого держали за ноги. — Вот и Божия мать так же стояла.

Был Шитов недалек разумом. В нем уживались самые противоположные свойства: болезненная подозрительность и детская доверчивость. Разглядывая в очки поцарапанную икону, он строго спрашивал мастра:

— Это что такое?

— Это, Василь Осипыч, тараканы повредили... двухвосток тоже много развелось.

— Тараканы... двухвостки, — задумчиво говорил Шитов, — надо будет мору достать.

А подозрителен он был необычайно. Жил на заперти. Всего боялся. Нелюдимый и взбалмошный, он зачастую не пускал в свой двухэтажный дом даже родных. Гнал их палкой, доской, чем попало.

Через руки Шитова проходило много старины.

Низенький, толстый человек с седой головой, служивший до революции у московского антиквара, рассказал:

— Получили мы от Шитова письмо: «есть старинный образ нерукотворного спаса и другие иконы, — приезжайте посмотреть». Еду я во Мстеру с наказом хозяина закупить шитовскую старину. Приехал рано утром, еще затемно, сразу пошел к Шитову. В мастерской уж был свет, — значит, работали. Постучался. Спрашивают через дверь: «Кто? По какому делу?» Объяснил. Не впускают. Ушел ни с чем. Через час присылает Шитов за мной мальчика. Иду за мальчиком прямо на второй этаж, в хозяйское помещение. Начинаем с Шитовым смотреть иконы. Я отобрал несколько штук, упаковал. С иконами собирался поехать в Москву и сам Шитов для разговора с моим хозяином. Все шло как следует. И вдруг дернула меня нелегкая спросить про цену: а почем, мол все-таки иконы будут? Шитов сразу закапризничал. Говорит жене: «Дуся, они меня в Москве ограбят, не поеду». Долго мне пришлось

его уговаривать. Насилу уломал. Сели на извозчика, тронулись. Только тут я вздохнул свободно: врешь, теперь не вернешься...

Было в Шитове что-то больное, жестокое.

Получил он заказ написать иконостас в новгородском стиле. Работы в мастерской было нахватано много, и Шитов колебался: брать ли новый, такой большой заказ? Удастся ли сделать к сроку?

Спрашивал Василия Никифоровича Овчинникова, который в то время работал в его мастерской.

— Брать ли заказ?

— Ни присоветовать, ни рассоветовать не могу, Василь Осипыч, — ответил Овчинников: — глядите сами.

Советовался Шитов и с женой. Она сказала:

— Бери, сделаешь.

Послушался.

Принялись за работу. Чем дальше шло время, тем яснее становилось, что иконостас к сроку не поспеет. Шитов нервничал. Бил жену:

— Это ты, бесовка, присоветовала взять заказ, ты виновата!..

Бил он и старика-отца. Морил его голодом. И очень удивился, увидев старика умирающим.

— Тятенька, прости. Ведь, я думал, ты долго еще проживешь. Вот поешь белого пирожка.

Мучась поздним раскаянием, стоял над отцом с блюдом пирогов. Но тому было уж не до еды.

III

Миниатюра прочно и надолго объединила живописцев Мстеры в артельной мастерской. Икона стаскивала их то у одного, то у другого хозяина.

Много лет назад Котягин, Клыкков и Модоров, — еще

не художники, а только иконописных дел мастера, — встретились в Москве, в мастерской своего земляка Дикарева.

В сравнении с другими хозяевами Дикарев был небогат. Сам он, как и Шитов, работал на ряду с мастерами. Плохо написанных икон из своей мастерской не выпускал. Как и Шитов, требовал, чтобы икона была сделана «мастеровито».

— Ты... того, — говорил он живописцу, тыкая пальцем в икону, — пробелец-то где полегил?

Вообще выражался он невразумительно. Разговаривал больше жестами, чем словами.

— Ты сделай не так, а вот этак... — пальцем рисовал в воздухе мудреную завитушку. — Ну, сам понимаешь, как... А то у тебя это не того...

Даже такому опытному мастеру, как Клыков-отец, Дикарев говорил:

— Прокофьич, счисти все. Напиши сызнова.

Мастер начинал работу снова. Материального ущерба он при этом не терпел, так как Дикарев платил своим работникам помесечно, независимо от количества сделанных вещей. Кроме жалованья, мастера получали от хозяина харчи.

Вообще Дикарев считался одним из «добрых» иконописцев. Но и этому доброму человеку жаль было расставаться с деньгами.

Иконописцы знали: если Дикарев, расхаживая по мастерской, напевает свою любимую: «Во субботу день ненастный», то это значит: дачки не будет. Спрашивали хозяина:

— Как, Михал Иванович, насчет денюжат?

— Плохо, ребятюшки, плохо... нету денег, — разводил руками Дикарев и уходил к себе.

Через некоторое время кто-нибудь из мастеров шел к хозяину.

— Ты что? — спрашивал Дикарев.

— Деньжонок бы, Михал, Иваныч.... Прямо до зарезу нужны.

— Ну, сколько тебе?

— Целковых бы пятнадцать, Михал Иваныч.

— Ты того, — говорил Дикарев мастеру, — больно много просишь. Ну, да ладно. Только ты не того... не говори в мастерской, что деньги получил. Михайла, сосчитай ему.

Сын Михаил, заменявший Дикареву бухгалтера и кассира, выдавал иконописцу деньги. Тот шел в мастерскую. Товарищи спрашивали:

— Ну, что, получил?

— Получил.

Через минуту в дикаревскую квартиру входил другой мастер.

— Тебе чего?

— Дсньжат, Михал Иваныч.

Разговор опять кончился выдачей денег и напутствием:

— Только не сказывай другим.

До вечера вся мастерская успевала побывать у Дикарева. Каждый уходил с деньгами и наказом:

— Только чтобы никто не знал, что я того... тебе выдал.

Для того чтобы пересчитать тех хозяев, которые относились к иконописцам по-человечески, пальцев на одной руке окажется, пожалуй, много. В этом коротком перечне должна быть названа фамилия Богатенко, у которого работали мастера. Он был типичным представителем либерально настроенной буржуазии. Он завел для своих мастеров библиотеку, выписывал газеты. Он знал музыку, занимался археологией, любил древние иконы. Годами хранил те работы своих мастеров, которые находил особенно художественными. Говорил:

— Это же музейные вещи.

Кроме икон, Богатенко собирал... замки и самовары.

— Другие копят марки, редкие гравюры, а меня интересуют редкие замки.

Это была, вероятно, единственная в мире коллекция. Замки были от самых сложных до простейших. От чемоданных, маленьких, до тех пудовых калачей, которые можно увидеть на дверях церквей и амбаров. Самовары самых разных форм, возрастов, размеров. Самовары-великаны. Самовары-карлики. Медные, серебряные, никелированные. Вазами, шарами. По ним можно было изучать эволюцию самоварного дела за десятки лет.

Совсем иным был переселившийся из Мстеры в Москву иконник Гурьянов, придворный поставщик. Он не копил замков и самоваров. Копил деньги.

За высокий рост, подчеркнутый жесткой худобой, Гурьянова прозвали Вася-потолок. На маленькой его голове светились злые глаза змеи. Дети плакали от гурьяновского взгляда.

Мастера говорили о глазах хозяина:

— Посмотрит на теленка — теленок сдохнет.

Гурьянов был одним из тех хозяев-самодуров, которые требовали от мастера беспрекословного повиновения:

— Ты свое хорошее при себе оставь, а мое плохое делай, — говорило мастеру: — песком, да солить!..

Гурьянов бдительно следил за поведением мастеров и учеников, живших в каморках при мастерской. Ночью, как приведение, крался проверять, все ли дома.

Однажды, делая ночной обход, увидал, что от окна к постели, на которой спал ученик Ванька-старовер, протянута веревочка. Она была привязана к ванькиной худой руке. Сегодня одна постель пустовала. Проведенная на улицу веревочка должна была помочь загулявшему соседу разбудить Ваньку, чтобы мальчик впустил его в комнату.

Сообразив все это, Гурьянов рассвирепел:

— Мерзавец!

Сдернув за волосы сонного Ваньку с постели, жестоко отколотил его. Колотя, кричал:

— Вот я отцу напишу. Пуцай и он тебе вложит.

Рука у Гурьянова была тяжелая. Это довелось узнать не одному Ваньке-староверу. Бил Гурьянов и других учеников. Попадало от него и взрослым, женатым мастерам. Особенно часто доставалось Ивану-большому. Гурьянов любил запускать свои цепкие костлявые пальцы в стоявшие копной волосы Ивана.

— За что таскаете, Василь Павлыч? — жалобно кричал Иван.

— За волосы, — отвечал Вася-потолок, пригибая голову Ивана то к правому, то к левому плечу: — за волосы таскаю тебя, дурака.

Так часто страдали волосы Ивана от гурьяновских рук, что Иван наловчился переносить наказание почти без боли: сам поспешно склонял голову в ту сторону, в какую тащил хозяин. И быстро — в другую. Голова болталась, как маятник.

Звание придворного поставщика располагало Гурьянова к патриотическим чувствам. Был он ярко выраженным монархистом. Его жена родила девочку. Гурьянов хлопотал о разрешении записать в метрическую книгу крестным дочери самого царя. Получив разрешение, хвалился перед знакомыми:

— Моя Зойка — царская крестница, батенька. Да!..

Мастерам позволялось читать только черносотенные «Московские ведомости». Резкого на язык Антоновского иконник выгнал с волчьим билетом. Других, наоборот, старался закрепить годовым контрактом. Особенно талантливых, на которых можно было нажитья.

Работал в гурьяновской мастерской паренек из Рязанской губернии Миша Кирсанов, бывший подпасок. Случилось ему, расписывая церковь, обратить на себя внимание Васнецова. Художник нашел у Миши большие способности.

Предложил учиться. Поступить в художественное училище Миша согласился с радостью. Задержка была только за паспортом, который находился у Гурьянова. Выдать паспорт иконник отказался наотрез.

— Не дам. Пуцай работает у меня. По условию.

За Мишу заступились мастера. Уговаривали хозяина.хлопотал сам Васнецов.

Гурьянов твердил свое:

— Не дам пцпорта.

Васнецов оказался сильнее придворного поставщика. Миша Кирсанов ушел из мастерской. Гурьянов злился:

— Ху-дожник!

Но сделать ничего не мог.

Позднее подобная история случилась с Модоровым, тоже поступавшим в школу живописи. Модоров пришел к хозяину просить расчета. Гурьянову не выгодно было отпускать мастера.

— Я тее плохого не хочу, батенька мой, и скажу прямо: не дело ты затеял. Оставайся-ка у меня.

— Не могу, Василь Павлыч. Я все обдумал.

— Все ли?

— Все. Выдайте документ.

Выбросив на стол паспорт, Гурьянов с сердцем сказал:

— Все одно Репиным не будешь.

Модоров сделался художником. Через несколько лет случай свел его с Гурьяновым в поезде. Войдя в купе второго класса, Модоров встретился нос к носу с бывшим своим хозяином. Неприятный взгляд иконника переходил с ботинок Модорова на шляпу, со шляпы на лицо, на изящный галстук. Гурьянов как будто удивлялся: неужели это тот самый Федька, которого можно было и обругать и за волосы оттаскать?

Поговорили:

— Ну, как дела, батенька?

— Ничего. Ваши как?

— Идут, батенька мой, идут потихоньку. Не художники, а слава бсгу, сыты...

Новая встреча придворного поставщика и бывшего иконописца произошла в другом мире и в другую эпоху.

В девятнадцатом году Федор Александрович Модоров устроил в родном селе художественно-промышленные мастерские. Дела было много. Иконописная мастерская, запах олифы, хозяйские подзатыльники, — все это стало теперь страшно далеким, почти невероятным. И появившийся во Мстере Гурьянов выглядел дико: не живым человеком, а тенью прошлого.

Он пришел в школу, костлявый, грязный, в седых космах. У него не было ни капиталов, ни прежней власти. Он ничем не отличался от обыкновенного нищего, только глаза горели сдержанной ненавистью. Долговязый — настоящий Вася-потолок — он, как складной аршин, вдруг сложился острыми углами и, загремев стоптанными сапогами, упал Модорову в ноги:

— Федор Лександрыч, примите поработать!

Художник отшатнулся:

— Встаньте. Что вы?

— Батенька мой, Федор Лександрыч, не оставьте!

Модоров смотрел на ползавшего на полу неряшливого старика. Ему вспомнилось, как этот человек вырывал волосы у подростков-учеников, как унижал пожилых степенных мастеров.

Жалости к Гурьянову художник не испытывал. Было только чувство омерзения.

Федор Александрович холодно сказал:

— Никакой работы здесь для вас не найдется.

— Хоть бы в библиотекарю!

— Библиотекарю у нас есть.

Гурьянов встал.

— Значит, не поможешь?

— Нет.

На мгновение в глазах иконника мелькнуло что-то
прежнее. Он крикнул:

— Старое-то добро, видно, забывается. Кто всем вам
кусок хлеба давал, бывало? Вспомни! Э-эх, вы-ы!

И горбясь вышел на улицу.

Бывший придворный поставщик ходил по Мстере, ко-
стлявый, седой, страшный.

Умер он во мстерской больнице, как бродяга.

ПОЭТ И КУПЕЦ

Таисья Яковлевна прожила долгий век.

Нам казалось, что есть две Таисьи Яковлевны. Одну
мы видели днем. Черная, как галка, в старушечьем платье,
она бесшумно входила в нашу комнату поливать цветы или
выгонять мух. Заколотый у подбородка черный платок
торчал на лбу острым соском. С темножелтого лица уста-
ло смотрели большие мутночерные глаза.

Другая Таисья Яковлевна появлялась по ночам. Вся
в белом, с серебряными волосами, она скрипела половицами
и охала. Спать ей не давали болезни и старость. Вдыхая,
Таисья Яковлевна брела на нашу половину. Отвернув элект-
ричество, смотрела на стрелки больших стенных часов:

Ночь-то какая долгая, господи-исусе!

Скудный желто-красный свет обливал полки с цве-
тами, мебель, картины и фотографии на стенах. Среди
фотографий выделялись два увеличенных портрета в чер-
ных рамах.

С одного важно смотрел мужчина средних лет и купе-
ческого вида. Сквозь редкую бороду просвечивала крах-
мальная манишка с орденом под шеей. На другом портрете
хмурилась дородная женщина в старинном платье с на-
колкой на волосах. Еще в первые дни нашего знакомства
Таисья Яковлевна сказала нам о портретах:

— Это Иван Александрыч Гольшев с супругой, мои благодетели. Я ведь жила у них в доме приемышем. Они меня и замуж-то выдали, и приданое собрали.

Таисья Яковлевна мельком взглядывала на портреты «благодетелей», гасила свет и, вздохнув, шла к себе. Но в глазах все стояли сохраненные фотографией черты, и Таисью Яковлевну охватывали воспоминанья. Собирая приданое, хозяева предложили ей, невесте, на выбор три чайных ложки или пуховую подушку. Ложки лежали в красивом футляре и блестили серебром. Выбрала ложки: думала, что настоящие серебряные. После свадьбы из-под серебра выглянула желтая медь. Таисья Яковлевна укоризненно шептала в темноту:

— Эх, Иван Александрыч!

И вздыхала.

И. А. Гольшев был сыном того самого бурмистра, который угощал графа Панина за счет мстерских крестьян стерлядями и ананасами. Бурмистр, помимо своих административных дел, занимался иконописью, выделкой мыла и помады и продажей дешевых книжек. Сына Ивана он отдал в ученье к московскому литографу. Вернувшись из Москвы домой, Иван Гольшев, в то время еще крепостной графа Панина, открыл литографию и во Мстере. Печатал лубочные картинки. Пять ручных станков гольшевской литографии выпускали до трех тысяч одноцветных картинок в день. Картинки раскрашивались ручным способом и шли в продажу.

Гольшевских изданий нет во Мстерском музее, но их сохранил Александр Федорович Котягин. Сюжеты рисунков — сказочные или религиозные. Тут Еруслан Лазаревич, Боба-королевич, Алексей, божий человек. Есть среди этих рисунков и раскрашенные от руки. Раскраска груба и сделана в один-два цвета. Рисунки раскрашивались женщинами, которые зарабатывали на этом гроши.

Кроме картинок, Гольшев печатал «Сонники» и «Га-

дательные тетради». Имел он книжную торговлю. На доходы от своих предприятий купил усадьбу и выстроил на ней двухэтажный дом. Этот дом стоит и сейчас. В начале семидесятых годов в доме Гольшева побывал поэт Некрасов, задумавший продвинуть в народ свои стихотворения. Гольшев, постоянно соприкасавшийся с офенями, мог распространить некрасовские издания вместе со своими лубками.

Он и сам был не чужд литературным занятиям. Посылал в журналы краеведческие статьи. Его устный рассказ о приезде Некрасова записан народником-публицистом Пругавиным в таких выражениях:

«Летом 1861 года к нашему дому подъехала дорожная коляска, запряженная не то тройкой, не то четверкой лошадей. Из коляски вышел господин невысокого роста с бледным лицом и спросил: может ли он видеть Гольшева? Я поспешил навстречу приехавшему и отрекомендовался ему.

Незнакомец оказался поэтом Некрасовым, слава о котором, разумеется, давно уже долетела до нас. Он объяснил, что едет в Петербург из своего имения и что нарочно заехал во Мстёру, чтобы узнать об офенях и о книжной торговле, которую они производят. Разумеется, я с полнейшей охотой предложил ему сообщить все интересовавшие его сведения.

Некрасов долго сидел у нас; подробно расспрашивал о книжной торговле офеней и ходябщиков; затем, напившись чаю, он попросил показать ему наш магазин. В магазине он внимательно просматривал народные книги и картины. При этом он сообщил мне о своем намерении заняться изданием для народа особых книжек, которые он предполагал составлять из своих стихотворений и распространять через офеней.

По моему совету, Некрасов решил, что брошюрки с его стихами будут продаваться в виде маленьких

книжек в формате обыкновенной лубочной листовки в красной обложке и будут называться «Красными книжками»...

Название «Красные книжки» вряд ли могло принадлежать оборотистому торгашу. Как бы то ни было, первая некрасовская книжка для народа, действительно, вышла под этим названием и в красной обложке. В книжку вошла написанная Некрасовым вскоре после заезда во Мстеру поэма о ходебах «Коробейники».

Отправляя книжку Гольшеву, поэт писал:

«Милостивый государь, посылаю вам 1500 экземпляров моих стихотворений, назначающихся для народа. На обороте каждой книжечки выставлена цена — 3 копейки за экземпляр, — потому я желал бы, чтобы книжки не продавались дороже: чтобы из 3 копеек одна поступала в вашу пользу и две в пользу офеней (продавцов). Таким образом, книжка и выйдет в три копейки, не дороже. После пасхи я пришлю вам еще другие, о которых мы тогда и поговорим».

Автора, который не только не требовал гонорара, но и не старался оправдать издательских расходов, Гольшев встречал, вероятно, впервые. Дело было выгодное. Поэтому, распродав присланную книжку и не получая других, он решил напомнить о себе Некрасову письмом.

Поэт послал Гольшеву вторую «Красную книжку» со своими стихами. Благодаря Некрасова за присыл, мстерский предприниматель в новом письме осмеливался «ожидать уведомления, по каковой цене продавать книжки разносчикам».

Но уведомления не последовало.

Есть предположение, что Некрасов, писавший в это время первые главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо», в изображении ярмарки села Кузьминского выразил свои далеко не веселые впечатления от знакомства с офенской Мстерой и Гольшевым.

Пошли по лавкам странники:
Любуются платочками,
Ивановскими ситцами,
Шлеями, новой обувью,
Издельем кимряков...
Была тут также лавочка
С картинками и книгами:
Офени запасались
Своим товаром в ней.
— А генералов надобно?—
Спросил их купчик-выжига.
— И генералов дай!
Да только ты по совести,
Чтоб были настоящие —
Потолще, погрозней.
— Чудные, как вы смотрите,—
Сказал купец с усмешкою:
— Тут дело не в комплекции...
— А в чем же? Шутить, друг!
Дрянь, что ли, сбить желательное?
А мы куда с ней денемся?
— Шалишь! Перед крестьянином
Все генералы равные,
Как шишки на ели.
Чтобы продать невзрачного,
Попасть на доку надобно,
А толстого да грозного
Я всякому всучу.
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз на выкате
Да чтобы больше звезд!
— А статских не желаете?
— Ну вот еще со статскими!
(Однако, взяли дешево!—
Какого-то советника
За брюхо с бочку винную
И за семнадцать звезд).
Купец — со всем почтением —
Что любо — тем и потчует
(С Лубянки — первый вор!).
Спустил по сотне Блюзера,

Архимандрита Фотия,
Разбойника Сипко.
Сбыл книги: „Шут Балакирев“
И „Английский милорд“...
Леги в коробку книжечки,
Пошли гулять портретки
По царству всероссийскому,
Покамест не пристроятся
В крестьянскій летней горенке
На невысокой стеночке.
Чорт знает для чего!

По мнению И. И. Власова, обследовавшего поездку поэта во Мстере и его взаимоотношения с Гольшевым, «всего вероятнее, что именно Гольшев послужил прототипом того «купчика-выжиги», который, умело подлаживаясь к своим покупателям — коробейникам, сбывал им на сельской «ярмонке» привычный ассортимент лубочной макулатуры».

Гольшев стал почти такой же невероятной стариной, как его «Английский милорд» или «Бова-королевич». О нем напоминают только фотография в доме Таисьи Яковлевны да еще название: «Гольшевка».

Гуляя под тенистыми березами Гольшевки, мстерская молодежь едва ли думает о том, кто когда-то был хозяином этой зеленой рощи и двухэтажного серого дома.

ДВА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

I

Жил в старой Мстере столяр Иван Анисимович Торговцев, родом из владимирских плотников. Имел он прекрасный талант: отлично делал по дереву тончайшую резьбу. Говорили про него во Мстере и по округе:

— Золотые руки у дяди Ивана!

Быстро набросает на бумаге рисунок: листья, виноградные гроздья, голубков. И вырежет, обточит. Все любовалось искусной работой столяра Торговцева. Вытачивал двери к алтарям, иконостасы ажурной резьбы. Делал и бытовую мебель: подзеркальнички, буфеты. Мог зарабатывать много. Но за деньгами не гнался. Брал за работу дешево. Случалось, что заказчик сам предлагал прибавку. Иван Анисимович отказывался:

— Не возьму. Плохо поминать будешь.

Была у него мечта: сделать машину «вечный ход».

Лет тридцать кряду изобретал мстерский столяр свое «перпетум мобиле». Заработает денег на неделю — и садится мастерить машину. Жил он в нижнем этаже полукаменного дома. Квартиру загромождала пыльная неразбериха деревянных колес, колесиков, валиков — многочисленные модели «вечного хода».

Иван Анисимович думал о своей машине постоянно. Даже во сне. Встав среди ночи, зажигал лампу. Строгал, пилил, вытачивал. Утром приходили ученики. Качались у Ивана Анисимовича какие-то шары, ходили гири.

— Когда ты это, дядя Иван, сделал?

— Ночью. Не спалось — вот и занялся.

Умер Иван Анисимович Торговцев глубоким стариком в нищете и одиночестве через неделю после смерти жены. Сын Ивана Анисимовича, иконописец, погиб раньше, отравившись политурой. До сих пор вспоминают мстерские мастера Митю Торговцева. Был у него, чудесный лирический тенор. Трактирщики за пение безденежно поили Митю водкой. Весь трактир затихал, когда певец, закрыв глаза, начинал свою любимую:

Эх, ты доля, моя доля,

Доля бедняка...

В темном царстве той жизни, хозяевами которой были Крестьяниновы и Панкратовы, талантливые «простолюдины» выбивались из-под гнета среды только при наличии

особо счастливых условий. Таких условий не было во Мстере. «Пустыми людьми», смешными сумасбродами казались мстерским купцам беспокойные, пытливые Кулигины-Торговцевы. В старой Мстере никто не заинтересовался изобретателем-самоучкой. Никто не объяснил ему фантастичность его затей.

Под конец жизни Ивану Анисимовичу пришлось побираться. Больной, опухший, в лохмотьях, он просил под окнами милостыню.

II

Молодой артельный опиловщик Александр Яковлевич Кибирев учился столярному ремеслу у Торговцева.

Спокойные глаза Кибирева прозрачны, как лед. Большие, заглубившиеся от работы руки кормят большую семью.

Кибирев тоже изобретатель. Но его занимает не идея «вечного хода». Он ставит себе более осуществимые задачи.

Изобретения Кибирева растут из жизни, из того производства, в котором он работает.

Придумал новую форму пресс-папье. Поставил в опиловочном цехе маленькую круглую пилу — резать заготовки из папье-маше. Стараются внести в процесс выделки полуфабриката новое, свое.

Когда мы вошли в опиловочный цех, Кибирев шлифовал сплюснутые, похожие на пуговицы, кружочки.

— Что это вы делаете?

— Костяшки к счетам. Артель будет выпускать конторские счеты из папье-маше. Вот и сижу, пробую, что выйдет...

Завели разговор о Торговцеве.

— Замечательный был старичок, — сказал Александр Яковлевич, — я у него два года работал. В то время было

ему за семьдесят, а помер он чуть ли не девяноста лет. Мастер был своего дела. Его бы к нам, в опилровку...

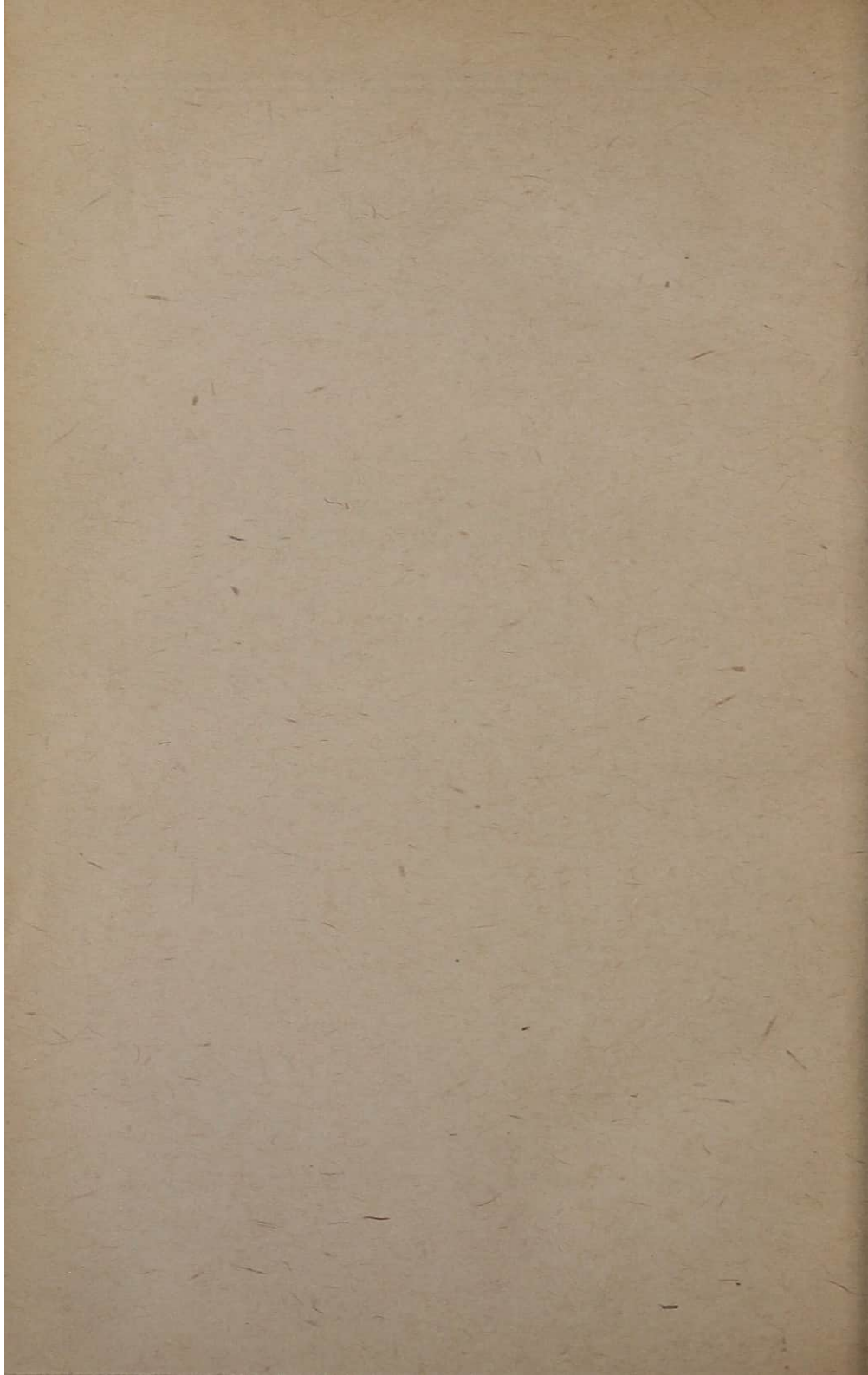
Столяр Торговцев жил и умер талантливым одиночкой в нужде, без поддержки и сочувствия.

Его ученик Кибирев живет и работает в другую эпоху. Он не один, с артелью. Несколько раз премирован. Артель ценит Кибирева. В цеху им гордятся. Новая Мастеря бережет и поощряет своих даровитых мастеров.



IV

Краски — радость





ГАЗЕТА ХУДОЖНИКОВ

Старший брат Николая Култышева Александр вывесил во дворе артели свежий номер стенгазеты «Художник миниатюры». Он в последний раз удовлетворенно окинул спокойными голубыми глазами пестрое газетное поле. Гурьянов запрещал своим мастерам читать газеты. Нынешние мстерские живописцы сами пишут статьи и заметки и сами украшают их цветными заставками. Федор Васильевич Антоновский наполняет газету стихами.

Александр Култышев — член редакционной коллегии и художник. Антоновский — рабкор и стихотворец. Овчинников и Евгений Юрин — депутаты поселкового совета. Брягин и Котягин входят в правление артели. В комнате для заседаний правления регулярно собирается партийная группа артельщиков. В красном уголке члены артели слушают лекции о живописи, занимаются политграмотой.

Какая разница в сравнении с «монастырем» Гурьянова и «каторгой» Ханихина!

Повесив стенгазету, Култышев пошел в мастерскую, сел за стол и начал копировать миниатюру Брягина «Сказ-

ка о царе Солтане». Александру Михайловичу нравилась в ней тонкость выполнения. Ему хотелось сделать так же. Он вступил в артель позднее многих. На это были свои причины. Александру Култышеву после иконописной школы пришлось работать в мастерской мастера-хозяйчика Цепкова. Через эту мастерскую прошло не мало мастеров, в том числе и Александр Федорович Котягин. Вспоминая Цепкова, мастер пишет в своей автобиографии, что «вся цель этого хозяина была эксплуатировать подмастера полностью, не давая ему развиваться».

Александр Култышев был благодарен революции, закрывшей хозяйскую мастерскую. Заболев у Цепкова отвращением к олифе, тухлым яйцам и всему, что связано с иконописью, он решил искать для себя нового дела.

В те годы, когда другие разрисовывали деревянную посуду и писали за хлеб портреты, Александр Михайлович подавал в Нижнем на паровоз дрова. Служил в Красной армии. Семь лет проработал на клееночной фабрике. Добился квалификации, заведывал набоечным цехом. Но успехи живописцев, их миниатюры раззадорили Култышева, заставили его почувствовать, что и он может стать художником. Перешел в артель. Александр Михайлович копирует чужие работы. Пишет и самостоятельные композиции. У него уже есть разноцветный «Хоровод» и «Сбор фруктов». А главное, — стремление вырасти в такого же мастера своего дела, каким он был на клееночной.

КЛЕЕНКА И ПОЛОТНО

I

Село Мстера, так же как Палех и Холуй, входит в состав Ивановской области.

С давних пор в этом краю рядом с иконописью разви-

вадось ткачество. Какая связь между штукой миткаля и художественной миниатюрой? Связь есть.

В Ивановском областном музее выставлены образцы старинных набоек. Ткань украшена крупными розами, написана сценами из народного быта. Цветы и фигуры сделаны так реалистично, что теряется ощущение материи. Ткань становится фоном рисунка. Это — почти панно, — те «коврики», какие писала Мстера.

Гёте, интересовавшийся «суздальским иконописным искусством», которым занимались в Палехе, Холуе и Мстере, утверждал, что цветы — это видоизмененные листья. Ситцевый узор и миниатюра через искусство художественной набойки и через иконопись роднятся друг с другом, как листья и цветы одного стебля. Те и другие питаются соками одной почвы.

И не случайно художники Палеха работают над образцами текстильного рисунка, а мастера Мстеры помогают своей клееночной фабрике. Александр Кульпшев на клееночной работал в набоечном отделении. Овчинников — в рисовальном.

Василий Никифорович развернул перед нами запыленные, засохшие жилками паутины, листья.

— Мои рисунки для клеенки.

Пестрели сказочные цветы. Переплетались волнистые линии орнамента. Один из рисунков очень напоминал те вышивки крестиком, какие выходят из-под рук мстерских строчей.

В рисунке как будто встретились все три главных производства Мстеры: живописное, вышивальное и клееночное. Кисть живописца перенесла узор вышивальщицы с полотна на клеенку. И клеенка через живопись породнилась с полотном.

Скатерти из клеенки, подстаканники, дорожки, на ряду с полотняными вышивками, можно встретить в каждом доме Мстеры.

Клееночная фабрика имени Дзержинского окружена яблоневыми садами, лугами, водой. Ее высокая труба поднялась над светлой Тарой, как первая, пока одинокая, со сна какого-то нового леса. В корпусах блестят сталью, потеют маслом сдержанно пульсирующие машины. Смешанный запах скипидара и вареного масла кажется непривычному человеку, попавшему в стены фабрики, слишком сильным. Здесь выделяются миллионы метров клеенки. Здесь, рядом с цветами лугов, распускаются на скатертях и дорожках цветы, нарисованные фабричными рисовальщиками.

В знойном колодце сушилки, уходя в глубину, висят узорчатые длинные ленты.

Директор тов. Сабуров, плотный, с немолодым, но свежим лицом, с приветливыми и спокойными глазами, раньше был рядовым рабочим. Он знает производство до последней мелочи и, говоря о фабрике, на память называет шести-и семизначные числа. Он перебирает сорта клеенки, которые вырабатываются на фабрике:

— Салфетная, мебельная, вагонная, половая, переплетная, фуражечная, мозаика...

Мстерская фабрика — одна из трех клееночных фабрик страны.

При Козловых рабочий день длился одиннадцать часов в сутки. Тех, кто успевал управиться с работой до свистка, управляющий посылал переключать дрова или чистить двор.

В годы войны фабрикантша П. Козлова с удовольствием увидела, что прибыль от фабрики все растет. Чтобы дела и впредь шли так же хорошо, П. Козлова попрежнему начинала первую страницу бухгалтерской книги словами: «Господи, благослови». И все шло по-старому вплоть до семнадцатого года, когда рабочие приготовили для управляющего фабрикой тачку. Почуввав недоброе, управляющий заблаговременно скрылся.

Хозяева ехали на Юг, откуда надвигалась черная туча контрреволюции. Но никто не мог помочь П. Козловой вернуть фабрику.

Рабочие переделали клееночную фабрику по-своему. Поставили в корпусах новые машины, устроили вентиляцию. О старых порядках и хозяевах теперь напоминают только сданные в музей бухгалтерские книги с колонками пожелтевших цифр и строк на первой странице: «Господи, благослови. П. Козлова».

II

Кисть Василия Никифоровича Овчинникова перенесла на клеенку узор с полотна, расшитого, может быть, его младшей дочерью, высокой и тонкой, как молодая березка, Музой.

Вся женская Мстера шьет, вышивает, вяжет. Почти в каждом доме белыми голубями взлетают над пальцами женские и девичьи руки. А на улице под окнами сидят маленькие девочки с вязальными крючками в руках и плетут кружева.

Рукоделием Мстера славилась издавна.

Если для мужского населения основным трудом была иконопись, то таким же привычным занятием мстерянок были вышивка и строчка. Шили и вышивали на продажу. Труд мастерицы часто становился художественным творчеством. Рисунок придумывали сами. В зимний день переводили на полотно морозные узоры с заиндеветшего окна. Техника вышивки отличалась поразительной чистотой и ювелирной тонкостью отделки. Когда в первые годы революции иконописцы остались без работы, женский труд стал для Мстеры основным. Женщины вышивали, а мужчины занимались домашним хозяйством и огородничеством.

Женщины работали на частников-спекулянтов, сбывав-

ших вышивки в Москве на Сухаревке. От притеснений чашника мастериц избавила артель. По утрам далеко разносится низкий гудок клееночной фабрики. По этому гудку начинается свой трудовой день и строчевая фабрика имени Крупской. Фабрика стоит на берегу Мстерки, прячась в густых зеленых зарослях. Каждое утро среди тенистых берез и черемух идут к фабричным воротам строчей.

Каждое утро спешила на фабрику и дочь нашей хозяйки, Марья Александровна Кирикова, лепкая, сухая, в темном платье и белом платочке. Она настоящая художница иглы, одна из лучших среди тысячи трехсот вышивальщиц, объединенных артелью. Вводит в производство свои рисунки. Премируется за них.

На фабрике Марья Александровна руководит бригадой молодых мастериц. Обучает их искусству вышивки и строчки.

Мастерские помещаются в огромных, залитых светом, залах первого и второго этажа фабрики. В окнах — широкие луговые дали, синие перелески.

В мастерских людно. За пядьцами, за натянутыми на них тканями сидят юные и пожилые работницы. Всюду — легкие белые платья вышивальщиц, склоненные над работой головы в платочках и повязках, в гладких прическах, в локонах, в кудрях. Всюду — полукружия опущенных ресниц, блеск полотна и батиста.

Среди других можно увидеть и Марию Александровну, — ее белый платочек и бледное лицо с черными глазами. Ее проворные, белые руки легко прикасаются к ткани и на белой глади полотна появляется красивый ажур или разноцветная вышивка. Игла в руках искусной мастерицы часто не уступает кисточке миниатюриста, а шелк цветных ниток начинает звучать, как краски расписной корочки.

Терпению и трудолюбию Марьи Александровны можно было удивляться. Придя к вечеру с фабрики, она про-

ворно прибиралась в комнате, поливала цветы и снова сидела за пядьцы.

В августе строчей справляли свой праздник.

В артельных мастерских, заставленных табуретками и станками для пядьцев, было пусто и гулко. Работницы собрались внизу, в красном уголке, где стояли застланные белыми скатертями столы. Артельщицы раскладывали на столах обеденные приборы. Готовился пир.

На этом женском празднике была и Марья Александровна. Она сидела за столом, принарядившаяся, помолодевшая. Все строчей надели в этот день платья и кофточки, вышитые их руками. Своими искусными руками, общим своим трудом строчей не только вышивали вороха тканей, — они создали эту фабрику с ее мастерскими, с машинами для стирки и отжимки, с залом, в котором сейчас происходил обед. Украшая полотно и батист, они сделали красивой и свою жизнь.

Артель «Пролетарское искусство», строчевая фабрика имени Крупской и клееночная имени Дзержинского — это целый художественно-промышленный комбинат. Он мог бы пополниться и еще одним производством. В кустарно-историческом музее хранятся металлические блюда, ковши, ларцы изящной и тонкой чеканки. Чеканщик Кулаков, сделавший эти вещи, прунтует заготовки в артели художников.

Собрать и объединить старых чеканщиков — благодарная задача. И, может быть, недалеко время, когда во Мстере появится еще одна артель — мастеров чеканки по металлу.

ЗА МОЛЬБЕРТОМ

Белое с колоннами здание на горе, около общественного сада, хорошо знакомо живописцам Мстеры. Раньше оно было иконописной школой. Теперь в нем разместилась

советская образцовая. Летом школа пустовала, — и Федор Александрович Модоров занял один из классов под свою мастерскую.

Надев серый, с завязками назади, халат, Модоров с утра садился за работу. Он увеличивал свою картину «Политбюро». Сильный, спокойный свет падал из большого окна на опромное, блестящее непросохшими красками полотно, на людей, которые находились в комнате.

С Модоровым работали два помощника: Венедикт Дмитриевич Бороздин и начинающий художник Андрюша Кисляков. Они делали подмалевку холстов.

Смотрели картину артельные мастера. Она заняла почти всю стену комнаты. Группа вождей была изображена на фоне туманно проступавших вдали подъемных кранов и опутанных лесами новостроек. На переднем плане, заложив руку за борт шинели, стоял товарищ Сталин, написанный смело и сильно.

Большая была работа.

— Повезу показывать в Донбасс, шахтерам.

Художник клал палитру на табуретку, брал со стола папиросу. Протирая пенсне, вспоминал знакомого профессора живописи, который давал ученикам такие советы: «не мусольте, избегайте серых тонов, пишите поклавикордистее».

— Да, так и говорил: поклавикордистее...

Модоров засмеялся. Его небольшие светлые глаза закрылись набежавшими веками, ушли под нависший лоб.

— А наш профессор учил: бойтесь черноты, — сказал Кисляков: — самое трудное — это писать черное платье и рояль.

У Кислякова живые серые глаза и шапка вздыбленных черных волос. Черная ластиковая рубашка подпоясана узким ремешком.

Сын мастерского чеканщика, Андрей Михайлович жил в Москве, посещал Вхутемас. Потом был живописцем

мстерской художественной артели. Смело ломая иконные традиции, рисовал на миниатюрах людей в пиджаках и сапогах бутылками. Такое упрощенное решение вопроса о новом стиле не могло удовлетворить и самого Кислякова. Он отошел от артели. Писал декорации в Вязниках. Он ищет, делает опыты, часто действуя наугад, ощупью.

Бывший иконописец Венедикт Дмитриевич Бороздин много лет работал в одной из московских хромолитографий. Приехал на родину инвалидом, и, как Николай Николаевич Клыков, поступил в артель. Сейчас он был в отпуске.

Вечером художники кончали работу. Шли домой.

Мстеру окружают тихие луга, пахучие леса с фиалками и земляникой в траве. Но мстерцы предпочитают лугам и лесным опушкам свой пыльный общественный садик с единственной аллеей и уродливо подстриженными деревьями. В начале и конце аллеи блестят на узорчатых подставках большие зеркальные шары. Подставки и шары взяты из церкви и добросовестно выполняют свое декоративное назначение. В шарах отражаются огоньки папирос, луна, фигуры гуляющих. Общественный сад для мстерцев не просто два ряда деревьев без вершин. Он — символ городской культуры. Прогуливаясь по аллее, мстерцы создают в своем воображении поэтический образ будущей Мстеры.

В июльские вечера луна тепла и золотиста. Ее скользкий, колеблющийся свет словно ищет чего-то. Черные короткие тени лежат на земле.

Луна смотрит на отдыхающую Мстеру. Ей видны все сразу: и завернувший в общественный сад Андрюша Кисляков, и сидящий под окошками Александр Иванович Брягин, и несущий корове мешок с накошенной травой Василий Никифорович Овчинников.

Дом Василия Никифоровича глядит своими тремя окнами в слабо освещенный простор поймы. Там, в тумане, ми-

гает далекий рыбацкий костер. А черный узор деревьев режется на прозрачной синеве неба орнаментом лаковой корочки.

ХУДОЖНИК МАЗИН

С запада к Мстере подошло село Татарово-Барское. В конце села, на краю сбегающего к светлой Мстерке оврага, стоит трехоконный с белыми наличниками домик. На задворках зеленеют яблони. За их темной листвой по вечерам алеют зори. От крыльца видно, как светится под горой речной плес, как стелются за рекой луга, как взбираются по косогорам и холмам перелески.

В доме живет художник Константин Иванович Мазин, старый учитель мстерцев, преподававший им рисование. Полным замыслов и молодых сил приехал Константин Иванович во Мстеру, — и Мстера привязала его к себе широкими далями, реками, любовью. Он стал мстерцем. Жил в обыкновенной избе среди яблонь и луковых пряд, как аист на кочке. Уезжал из Мстеры и снова, как аист, возвращался на старое место. Обучал молодую Мстеру своему искусству. Радовался, встречая способных. Незаметно вошел в преддверие старости. Стукнуло Константину Ивановичу шестьдесят. И уж редко вспоминал он, что когда-то учился вместе с Кустодиевым и Горюшкиным-Сорокапудовым, что ради искусства проникал в сибирскую тайгу и, пожираемый мошкой, переносил на холст ее пустынную красоту. Теперь Мазин сам почти не писал. Считал себя годным только поправлять ученические рисунки. Но в Ивановском союзе художников думали о Мазине иначе. И заказали ему для областной выставки две картины.

Мазин помолодел. Высокий, сутулый, с этюдным ящиком в длинных руках, ранней весной ходил на Мстерку, на Старицу. Искал красок для своих «Окрестностей Мстеры»,

ловил на воде последние заревые отсветы. Туман поднимался от реки, занавешивал продрогшую рошу на том берегу. Туман и черную воду у берега тоже надо было схватить, закрепить на холсте.

И — захворал Константин Иванович. Пришлось лечь в больницу. Тело тряс озноб. Очень возмущался Константин Иванович, когда врач назвал его болезнь малярией.

— Как? Я, природный астраханец, поддался ничтожному комару? Не может быть!

Однако диагноз оказался правильным.

Только в июле отпустили художника домой. Его мотало от слабости, как одинокое дерево на ветру. Константин Иванович говорил навецавшим его людям:

— Черти меня понесли тогда на реку.

Высокий и легкий, он ерошил на небольшой своей голове клочья из седых с желтоватым отливом волос — и казался посетителям поздним одуванчиком на длинной тонкой ножке.

— Да, шарахнула меня эта проклятая малярня!

Слова у Константина Ивановича были свирепые, а под жесткими сероватыми усами дрожала добрая и нежная улыбка. А когда он вскидывал очки на лоб, то от серо-голубых глаз молодело худое лицо. Он принадлежал к породе тех людей, которые до старости сохраняют первоначальную свежесть души и радостно удивляются человеку, дереву, облаку.

И совсем уж не вязались с сердитыми словами висевшие на стенах картины. Пастелью, акварелью, маслом были написаны весенние, летние, зимние закаты, сине-розовые сугробы, алые плесы, деревья с озаренными вершинами. И жизнь художника шла к закату, но то молодое, что было в его глазах, во взгляде, говорило скорее о наступающем, чем об уходящем дне.

Мы пришли к Мазину в конце лета, когда подсохли травы и каплями запекшейся крови чернела среди них горь-

ковато-сладкая земляника. Художник, сидя на крыльце, писал портрет снохи. Она была юная, темноглазая, в ярком сарафане. Такой вышла и на холсте, которому нехватало лишь двух-трех последних мазков. А от жены художника, от ее тонкого млажавого лица веяло спокойной добротой и приветом. Что-то материнское было в ее обращении с Константином Ивановичем. В доме на столах лежали альбомы с рисунками. Пазы стен с вылезшей паклей были завешены картинами. Нам хотелось посмотреть большую работу Мазина — ту, которую он готовил к выставке.

— Она у меня в сарае, — сказал художник: — я там малую. Хотите — сходим.

И вопросительно взглянув из-под очков сверху вниз, он повел нас на двор, в сарай. Едва сошли с крыльца, как набежавшая тучка посыпала крупным золотистым дождем, сквозь солнышко.

— Тут недалеко, добежим.

И Константин Иванович — большой ребенок — согнувшись, побежал впереди, скользя длинными ногами по грязи, минуя лужи. Съездившись, мы бежали за ним меж яблонь, луковых гряд, мимо клина хозяйской пшеницы, мимо высоких черных елей, а сверху так и сыпались сверкавшие на солнце жемчужины. Они сыпались на нас и с круглых жестких листьев, когда мы задевали головами за отягченные светлозелеными плодами ветки. Мы вбежали в ворота сарая.

Из полумрака выступал большой холст: лиловая лужа, разбредшееся по лугу стадо, стога, и вдали, в голубой дымке, в алых бликах вечера дома, сады, колокольни Мстеры.

— Вот какую чертовщину наворочал.

А вернувшись в дом, смотрели написанную Константином Ивановичем миниатюру. На крышке лакированной шкатулки масляными красками был нарисован охотник, стреляющий с лодки в поднявшихся из камышей уток. Стиль живописи не походил на тот, который принят в арте-

ли. Это была уменьшенная во много раз станковая картина. Художник и сам понимал это.

— Проба кисти. Не смотрите.

К Мазиным приехали два сына: инженер и студент. С вечера, надев лапти и взяв ружья, они пошли на Старицу за утками. В открытое окно доносились далекие выстрелы, и Константину Ивановичу казалось, что это стреляют сыновья.

— Чу, опять бабахнуло! Они! Я по удару слышу. Кабы не эта дьявольщина — малярия, и я пошел бы!..

Свои картины Константин Иванович написал. Вместе с миниатюрами мстерских мастеров они были отправлены на выставку. С картинами приехали в Иваново Мазины — и он и она — праздничные, чуть возбужденные. Константин Иванович радостно удивлялся всему, что видел в большом текстильном городе. Ходил на пленум художников и здесь, среди товарищей по кисти, совсем забыл о своих годах и болезнях. Минутами он казался седым юношей.

Мазины не хотели больше возвращаться в трехконный домик над оврагом. Константин Иванович сказал в союзе художников:

— Хватит с меня торчать в щели. Я совсем мохом оброс.

Сдвинул очки на лоб. Серо-голубыми глазами взглянул на сидевшего за столом секретаря союза.

— Я хочу на-люди, работать хочу. Перетаскивайте меня в город.

И остался в Иваново — старый учитель Мстеры с нестареющей любовью к жизни.

В ЛУГАХ

Покос образцовой школе был отведен на Великой Луке по Клязьме.

Под предводительством Василия Никифоровича мы отправились на Великую Луку за поспевшей смородиной.

В выпцветшем небе плавали воздушные, словно взбитый белок, облачка. Изредка навстречу дышало печной сухостью. И со всех сторон шел немолчный треск кузнечиков, тот однообразный звук тысячи маленьких будильников, которого почти не замечаешь, а прекратись он, — ухо сразу поразила бы непривычная тишина.

Василия Никифоровича и жара не брала. Размахивая руками, он шагал впереди всех, неутомимый и легкий. Сквозь коричневую блузу со сборками проступали лопатки его спины. Прямая, тонкая шея цветом почти не отличалась от блузы. На голове была синяя панама.

За нами с гуденьем гнались слепни. Широкая луговая дорога, с клочьями натерянного сена, стлалась среди мелкой иссохшей травы. Впереди ехали две колхозных подводы. Колеса телег простучали по мостику и снова покачивались колеями.

Перейдя пыльный мостик — несколько темных прыгающих под ногами бревен, — мы подняли с травы черный ситцевый кисет с табаком. Мы все старались догнать колхозников, чтобы отдать им находку, но лошади двигались быстрее нас, а потом свернули с дороги в сторону и пропали в лугах.

Трава пошла выше, зеленее. Начали попадаться кусты ивняка. Дорога раздвоилась. Василий Никифорович ковшичком приложил ко рту ладони и крикнул:

— Гей! гей!

Где-то справа ответили. Двинулись по кустам, по лужайкам с сочной травой и вдруг попали на поляну в табор кощов.

Около телеги, к которой была привязана распряженная лошадь, дымился костер. У огня полулежал Николай Никифорович Овчинников в белой рубашке и выгоревшей, как у брата, панаме. Рядом, на охапке травы, сидела его жена

Наташа. Голубоглазая, с золотистыми бровями, с пухлыми губами на белом, слегка только обожженном солнцем, лице, в белом чепце и пестром сарафане, она была похожа на молодую голландку со старинной картины. Маленькая девочка и два карапуза — дети директора — играли в застланной свежим сеном телеге.

Николай Никифорович подбросил в огонь зеленых веток. Плотный дым повалил от костра.

— Весь день с комарами воюем, совсем заели. Дымком спасаемся.

Николай Никифорович был совсем другой, чем в школе или дома: размашистый, шумный. Панама сдвинута на затылок, осыпанная травой рубашка прилипла к потному телу. И почти весело начал он рассказывать страшную историю, которая произошла в этих вот местах.

Несколько лет тому назад сюда пришли на охоту два брата. Младший, холостой, нечаянно застрелил старшего, женатого. Чтобы искупить свою вину, убийца дал обещание вырастить семерых детей убитого, поселился в его доме, работал на его семью и сдержал клятву.

— Да, вот какие случаи у нас бывают.

А за кустами раздавался говор. Где-то аукались.

— Ученики сено ворочают, — сказал Николай Никифорович, ломая ветки.

Мы искали по кустам смородину.

В песчаных примойнах обнаженные корни ивняка торчали, как чьи-то судорожно скрюченные когтистые пальцы. Крупные, ярко разрисованные осы дрожали в воздухе. В траве попадалась исчерна-красная земляника. Смородины было мало, ее оборвали косцы.

Вышли к Клязьме, к шалашам, в которых ночевала ватага Николая Никифоровича. Сейчас и высокий берег, на котором мы стояли, и широкая прохладная река — все дышало тишиной и покоем. Маленькие серебристые рыбешки там и здесь выпрыгивали из воды и тотчас же падали об

ратно. Синие с слюдяными крыльями коромысла вились над осокой у берега.

А неутомимый Василий Никифорович звал дальше. Вел обритыми лощинками. Обрезанные косой стебли ломко хрустели под ногами. Спустились в заросший кустами овраг. Василий Никифорович развел ветки в стороны. Солнце осветило темную квадратную дыру — вход в землянку.

— Тут, бывало, дезертиры прятались. И в пойме можно скрываться, как в лесу.

Землянку, шалаши, пойму, Старицу с ее островами Василий Никифорович показывал почти так же, как свои рисунки. Он гордился привольной красотой этих мест, любил их запахи, звуки, краски. Здесь были рассыпаны десятки его «Сенокосов», «Уборок урожая», «Бурлаков на отдыхе».

Старица — это старое русло Клязьмы.

Глушью, тайной веяло от сонной воды, от камышей у берега, от густого леса, черневшего на той стороне. Дурманно и сладко пахло болотными цветами.

— Уток тут в камышах много, — говорил Василий Никифорович: — А вон там, видите, осока шевелится? Правее, правее смотрите! Видите?

— Видим.

— Это щука идет. Тут их строгой строгают.

Сильно ударило по воде, словно кто-то бревно швырнул в Старицу.

— Вот так нырнула, — прошептал Василий Никифорович. И замолчал. Запоминающе глядел на зеленые острова, на лес, опрокинутый в реке. Будто впитывал в себя оттенки цветов, звуки, запахи.

И на обратном пути он все приглядывался к забелевшим в низинах туманам, оборачивался к вечерней заре, прислушивался к голосам лугов.

У дороги трещала косилка. Косец крикнул:

— Граждане, нет ли покурить?

Мы вспомнили о найденном кисете:

— Не знаете ли чей?

— Да это мой! Вот спасибо. Теперь и работать можно. А то беда без курева.

Колхозники огораживали пряслом стог. На все уж легла тень и только верхушка стога была позолочена заходившим солнцем. Аромат свежего сена стал еще крепче, пьянее, чем днем. Врач мстерской больницы с женой шли с покоса, — оба босые, с косами и граблями на плечах. По реке и лугам гулко раскатывались выстрелы. С пригорка, на который мы поднялись, были отчетливо видны маленькие фигурки охотников, огни, сверкавшие из ружей, утки, летевшие на заревом небе.

Подходили к селу. Вдруг среди тишины грянул совсем близкий выстрел. Тонко провизжала пуля.

Навстречу нам, от Мстеры, бежал человек с сумкой. Он кричал:

— Чуть-чуть не убили. Пошел домой, а попал было на тот свет. Из малокалиберной винтовки сядят, дьяволы. Я тебе покажу, как в народ стрелять!..

Последние слова не могли относиться к нам. Мы оглянулись. Из сумерек приближались две фигуры: высокая и пониже с ружьем за плечами.

— Пойдем в сельсовет, — распаляясь кричал стрелку человек с сумкой: — пуля твоя у меня мимо самого уха пролетела.

— Какая пуля?

— Такая! Не видишь спьяну, куда палишь?

— Ты что ли мне подносил? — засуетился стрелок. — Не имеешь права оскорблять.

Его спутник молчал, спокойно и широко шагая по дороге.

— Пойдем в сельсовет, — настаивал человек с сумкой.

— Да пойдем, пойдем, — отвечал стрелок не совсем уверенно.

Спорившие свернули на мост через Мстерку.

— Отберут у него ружье, — сказал Василий Никифорович. — И правильно. Таких нестороженных учить надо. Долго ли до беды? Вышла бы история вроде той, про какую на лугу Николай рассказывал. И без видимой связи с предыдущим вдруг прибавил:

— Хороши деньки для сенокоса стоят! И завтра красный день будет. Закат был чистый...

А кругом кто-то без конца заводил множество карманных часов, — так звонко тянули свою нескончаемую песню кузнечики, — квакали и журчали лягушки, и духовой оркестр общественного сада звучал из теплой мглы «Маршем веселых ребят».

ЗАЧИНАТЕЛИ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ

Август вернул из отпуска Котягина и других мастеров.

Александр Федорович сел за свой стол с кипой журналов в углу, положил перед собой «пластину» из папье-маше. Плечи его грузной фигуры глыбой нависли над столом. Рука, опираясь на поставец, водила кистью по белому четырехугольнику будущей картины. Александр Федорович работал над «Героикой».

И Василий Никифорович, надев очки с веревочкой, принялся писать свой «Праздник урожая».

Оба мастера, как и Брягин, начали рисовать сверху, с левого уголка картины: с голубых небес и светлозеленых далей. Медленно уступали белила краскам.

А на брягинской «пластине» белые пятна, как застрявший в весенних низинах последний снежок, теперь лежали только местами. Но еще не нравилась Александру Ивановичу картина. Все было не то, что виделось бессонными ночами в творческом жару.

Заходили в мастерскую Модоров и Вольтер, оба — в широких белых блузах, оба посвежевшие и какие-то распахнутые.

— Ну-ка, Александр Иванович, показывайте.

Брягин прислонял картину к стене.

Тем оценивающим взглядом, которым только художник смотрит на работу другого художника, гости вглядывались в белые дворцы, в пеструю листву деревьев, в праздничные толпы нарядных людей.

— Хорошо, Александр Иванович. Только объемнее делайте. Деревья надо бы дать — гуще, раскистее...

Брягин выслушивал советы с внимательной скромностью настоящего художника. Соглашался:

— Это надо будет переделать...

Стояли жаркие дни. Краски на кисточках быстро сохли. Котягин говорил:

— Трудно летом работать. Мое любимое время — февраль, март, апрель, когда много солнца, но оно не жжет, не расслабляет.

День был солнечный и звал на улицу. Но художник сидел за столом и рисовал своих альпинистов, наездников и водолазов.

А худощавый, светлоглазый, в русской вышитой рубашке Евгений Васильевич Юрин расписывал чернильные приборы. Он — старый член артели. Искусствоведы отмечают в его живописи «простоту, несложность сюжетных мотивов, скупость цвета и его непосредственность». Юрин рисовал на чернильных приборах «Сказку о рыбаке и рыбке» — старика с веслом в руке, старуху за разбитым корытом, золотую рыбку и синий океан. Друг и сосед Николая Култышева, молодой мастер Николай Тимофеевич Гурьянов, начал миниатюру «Выпуск стенгазеты красноармейцами».

Гурьянов окончил иконописную школу, и не случись революции, — мог бы попасть в мастерскую своего москов-

ского однофамильщика, придворного поставщика икон. Он избежал этой невеселой участи. Вместо святых писал плакаты для ковровских рабочих клубов, ковры для артели. Теперь рисует миниатюры.

От ковров пошел и девятнадцатилетний Федя Шилов, круглолицый, с нежным пушком на щеках, живописец брягинской бригады. Его родные работают в колхозе, товарищи — учатся в артельной художественной школе. Школой Шилова была артель. Поступив в нее четырнадцатилетним подростком, он быстро постиг технику ковровой живописи и вместе с другими перешел на миниатюры.

Федя Шилов — первый из молодежи сумел перенять мастерство старых живописцев. А через год, через два из артельной школы выйдут новые преемники старых художников Мстеры, продолжатели их искусства.

С Л О В А И К Р А С К И

Не раз мы заставляли Александра Ивановича Брягина за книгой. Он читал Лермонтова. На страницах желтели водяные подтеки, как будто Брягин, читая, орошал стихи слезами. Но дело обстояло проще и прозаичнее. Книга была подарком одного вязниковского журналиста. Тов. Никонѳв приехал во Мстеру под проливным дождем. Никонѳв промок до нитки, Лермонтов — до последней страницы. Александр Иванович высушил книгу, но следы дождя на ней остались.

— Бедны мы книгами, — говорит Брягин, — а ведь чтение наталкивает на новые темы.

Александр Федорович Котягин выписывает книги на почте. В его домашней библиотеке теснятся томики Пушкина, Жуковского, Гаршина, Фета, Мея. Мастер следит и за современной литературой. Интересуется книгами по искусству.

Литературная тематика занимает в творчестве мстерских художников значительное место. У каждого из ведущих мастеров найдутся отклики в красках на прочитанное. Пишут Микулу Селяниновича (Н. Култышев), Крымского разбойника Алима, Степана Разина, Емельяна Пугачева (Овчинников). Иллюстрируют Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Чехова, Горького, Серафимовича.

Полвека слишком назад жизнь свела иконописцев Мстеры с нижегородским подростком Алексеем Пешковым. Будущий писатель, ученик иконописной мастерской, днем растирал краски, а по вечерам читал товарищам по работе стихи русских поэтов.

Огромное впечатление произвела на слушателей поэма Лермонтова «Демон». Лучший живописец мастерской, личник Жихарев, сказал тогда:

— Деймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья, огненнокрасные — суриком, а личико, ручки, ножки — досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Жихарев чувствовал себя художником, но он должен был производить ремесленнические иконы. Его «Демон» остался ненаписанным. Жихареву приходилось работать по готовому трафарету, по указке «подлинников». Жихарев говорил:

— Связали нас эти подлинники. Надо прямо сказать: связали.

Мечту Жихарева осуществила нынешняя, узнавшая свободу творчества, Мстера.

В Московском художественно-промышленном институте хранится одна из ранних мстерских миниатюр «Тамара и Демон». В ней еще очень заметны традиции иконописи, — так и кажется, что это личник Жихарев написал, наконец, привидевшийся ему когда-то образ.

Десятки Жихаревых стали художниками. А ученик иконописной мастерской Алеша Пешков, впервые поэмако-

мивший мстерских «богомазов» с художественным словом, давно сделался любимым писателем трудящихся.

Произведения Горького тоже иллюстрируют мастера Мстеры. Брягиным написана миниатюра «Буревестник» — кипящее море, орнаментальные тучи с молниями и буревестник над завитками волн. Горький читается и почитается художником на ряду с Лермонтовым и Пушкиным.

Брягину же принадлежит «Железный поток», иллюстрация к повести Серафимовича, полная глубокого настроения. Южная лунная ночь. На всем тонкая голубая дымка. В синей воде отражается лунное золото. Друг за другом едут по дороге вооруженные всадники. Миниатюра звучит, как дальняя песня в поле.

Клыков-сын пытается передать в красках рассказы Чехова: «Крыжовник» и «В овраге». Дмитриев перевел на цветистый язык миниатюры поэму Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», Гурьянов — «Коробейники».

Но больше всего иллюстраций к Пушкину. Великий народный поэт оказался особенно близок и понятен народным художникам. Образы пушкинских сказок, баллад и поэм ожили в фантастическом мире орнаментальных трав, деревьев и горок. Сочетания слов перецвели в сочетания красок, их ритм стал ритмом линий. Еф. Вихрев проследил, как художники Палеха год за годом создавали своего, палехского, Пушкина («Пушкин—Палех»). Но есть и мстерский Пушкин.

Старейший мастер Мстеры, Николай Прокофьевич Клыков, передал в своих лилово-сизых тонах «Песнь о вещем Олеге».

Котягин написал большую композицию «Лукоморье».

Он же в четырех сценах или, как выражались иконописцы, «клеямах», искусно размещенных на маленькой пластинке, рассказал кисточкой «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Тонкая кисть мастера изобразила, как девка-чернавка ведет царевну в лес, как царевна попадает

в терем семи братьев-богатырей, как нищая черница бросает ей отравленное яблоко и, наконец, как королевич Елисей пробуждает спящую в хрустальном гробу невесту.

«Сказкой о царе Салтане» пленился Брягин. Сказка вдохновила его не на одну миниатюру. Брягин нарядил в узорчатое платье своей живописи целую вереницу пушкинских строк. Вот брошенные в море царица и ее сын выходят из бочки на берег. Вот царевич стреляет в коршуна-чародея, и девушка-лебедь обещает ему за избавление от врага свою помощь. Вот мать и сын входят в неведомый город.

Все их громко величают
И царевича венчают
Князьей шапкой и главой
Возглашают над собой.

Эти работы Брягина и Котягина филигранной своей отделкой, вложенным в них изощренным мастерством, напоминают те «людницы» — иконы с множеством мелких изображений, которым удивляются знатоки иконописи.

На «Сказке о рыбаке и рыбке» пробовал свои силы — еще до «Цыган» — Николай Култышев, облюбовав ту сцену, в которой старуха говорит старику:

— Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была-б у меня на посылках.

Гурьянову понравилась «Сказка о золотом петушке» — и он нарисовал царя Додона над трупами сыновей и Шемаханскую царицу возле входа в шатер. Нарисовал также иконные деревья, скалы и голубое небо.

От сказок мастера переходят к поэмам и повестям Пушкина. Дмитриев, прочитав «Руслана и Людмилу», сделал миниатюру на строки:

Уже Фарлаф ко граду мчится.

Котягин — из песни девушек в «Евгении Онегине»:

— Девыцы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Заманите молодца
К хороводу нашему...

На миниатюре — улица с вишневыми садами, нарядный молодец, лукавые красавицы, готовые засыпать гостя «вишеньем и малиною».

Овчинников написал «Бахчисарайский фонтан». Кистью Николая Култышева, особенно обогащенного Пушкиным, сделана иллюстрация к «Русалке»: мельница, мельник, зажавший в руке мешок с княжескими червонцами, удаляющиеся всадники.

Несколько лет назад автор этих строк писал о том, что палехская расписная коробочка — сокровищница поэтических образов народа, только ее сокровища находятся не внутри коробочки, а в росписи на крышке.

Это определение подходит и к мстерской миниатюре, так хорошо сливающейся с художественным словом.

УРОЖАЙ

В середине августа мастера ходили к слободским колхозникам косить овес.

Широко и мерно взмахивал косой с приделанным к ней лучком степенный, шестидесятидвулетний Павел Александрович Морозов, бригадир полировочного цеха. Рядом косили молодые. Валы ложились по полю золотым орнаментом. А вдали по луговой тропе шли грибники с корзинами. После дождей проскочили грузди и белые. На все был нынче урожай: на полевые злаки, на лесные, садовые и огородные плоды.

Над заборами, среди жесткой подсохшей листвы круглились тугие, светлозеленые и краснощекие яблоки. Мальчишки бросали в них с улицы камнями и палками. Яблоч-

ный град стучал по земле. Мальчишки жадно глядели в заборные щели на упавшие яблоки.

— Вон лежат! Эх, достать бы!..

И под кистью Василия Никифоровича Овчинникова тоже поспевали плоды: без них был бы не праздничен «Праздник урожая». Мастер писал бордовые яблоки, алые помидоры, яркозеленые огурцы, фиолетовую свеклу, голубоватую капусту, огромные желтобоккие дыни и тыквы.

Василий Никифорович выращивал на картине фрукты и овощи потому, что любил выращивать их в жизни. Потому, что его Анна Тимофеевна была «лесной бабушкой», а Муза походила на юную голенастую березку. Потому что он, хоть и провел полжизни в городе, в иконописной мастерской, сердцем был привязан к родной земле и к людям, которые работают на ней.

Александр Иванович Брягин писал свой «Путь к социализму» потому, что ему хотелось спеть песню в красках. Звучание своей души он превращал в музыку цветов и оттенков, в их радостную гармонию.

А «Героика» Александра Федоровича Котягина росла из того мира, с которым его связывали книги, газеты, радио. Его героями были не те люди, которых он видел на фронте в царскую войну. Александр Федорович славил красками героизм ученого, метростроевца, водолаза, летчика — героизм труда и мысли. Мастер шел в своей работе от тех дум и чувств, какими заряжала его действительность.

Радуюсь своему новому радиоприемнику, на котором была марка «Колхозный», Котягин говорил:

— Это для колхозной деревни — большое, громадное достижение.

Он ценил радио за то, что оно дает возможность прикасаться к культуре любому деревенскому жителю. Он ценил все, что учило его видеть героическое в будничном и повседневном.

КРАСКИ — РАДОСТЬ

Мстерская миниатюра появилась после ремесленнических икон и таких же ремесленнических ковров. Появилась, как чудесная неожиданность. Как зеленый росток из-под снега.

Семя древнерусского искусства таилось в народе столетиями. Оно долго не находило условий для прорастания, но не погибло. Революция пробудила, раскрыла творческие силы народа. И семя дало росток. Его прорастание совершилось по тем же законам, что и прорастание набухшего весенней влагой, почувшего солнце ржаного зерна.

Народные художники Мстеры в маленьких своих картинках пытаются передать великое — огромный размах эпохи. Но им тесно в пределах миниатюры, в ее золотом обрамлении. Их манят широкие глади стен.

— Мы ведь фрескисты, — говорил Котягин на собрании мастеров: — Все мы работали в храмах и знаем технику стенописи.

Все старшее поколение Мстеры писало и реставрировало фрески в Московском кремле, в Костроме, Ярославле, Новгороде и других городах. И в наши дни часть мстерцев продолжает работать по реставрации старинной фресковой живописи. Специалисты говорят о чудесах техники и знаний, проявленных мстерцами в ответственных реставрациях.

Народных художников манят простанства стен. Мастера хотят, чтобы их искусство стало поистине народным. Чтобы их краскам радовались сотни тысяч глаз, сотни тысяч тех новых людей, для которых они работают.

Во Мстере отделяется Дом художника, — в нем будут отдыхать художники, приезжающие во Мстеру на лето. Мастера решили украсить его стены своими росписями.

...Перед вечером, убрав со столов свои кисточки и

краски, человек пять мастеров и московские гости пошли смотреть, как подвигается отделка дома.

Ступая по стружкам и опилкам, переходили из комнаты в комнату. Вот здесь будет столовая, а там красный уголок. Здесь вознесутся в лазурь стройные брягинские города, распесятся цветы Овчинникова, встанут легкие леса Клыкова и засинеют его воды. Тут запоют звучные котягинские краски.

На стенах комнат разольются моря-океаны, и отважные исследователя поведут по морям в Арктику свои корабли. Летчики помчатся в стратосферу. Праздничные хорорыводы закружатся на зеленой луговине.

Александр Иванович Брягин, склонив к плечу голову в белой фуражке, невидяще смотрел своими лучистыми глазами на негладкую, еще неотштукатуренную стену. Смотрел так, словно пред ним уже носились образы новой композиции.

Он сказал Котягину:

— Вот и новое дело готово, Александр Федорыч.

Сдерживая свой густой голос, Котягин ответил:

— Что же, дело знакомое, не привыкать...

И его слова гулко отдались в пустой комнате.

Дела впереди было много.

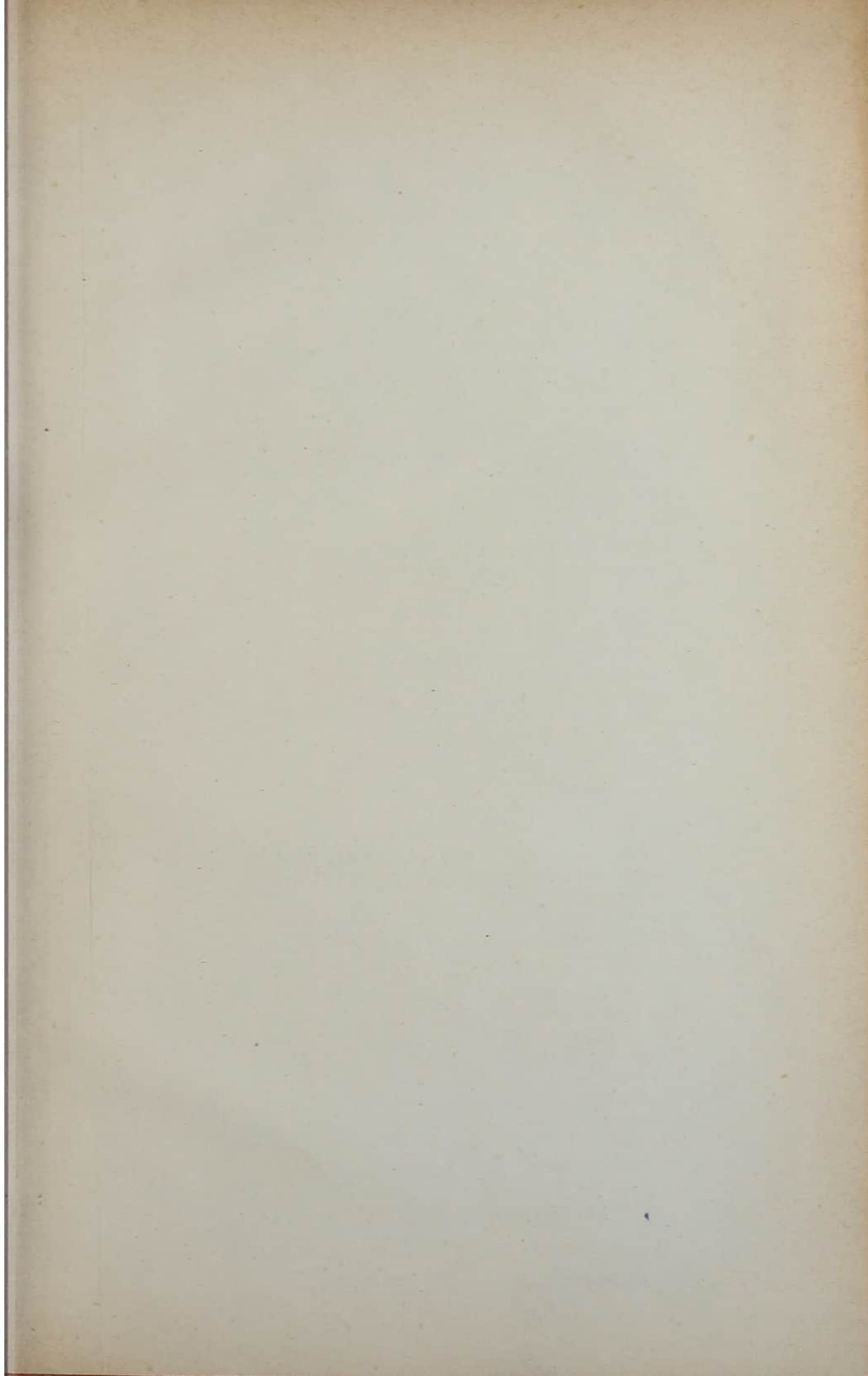


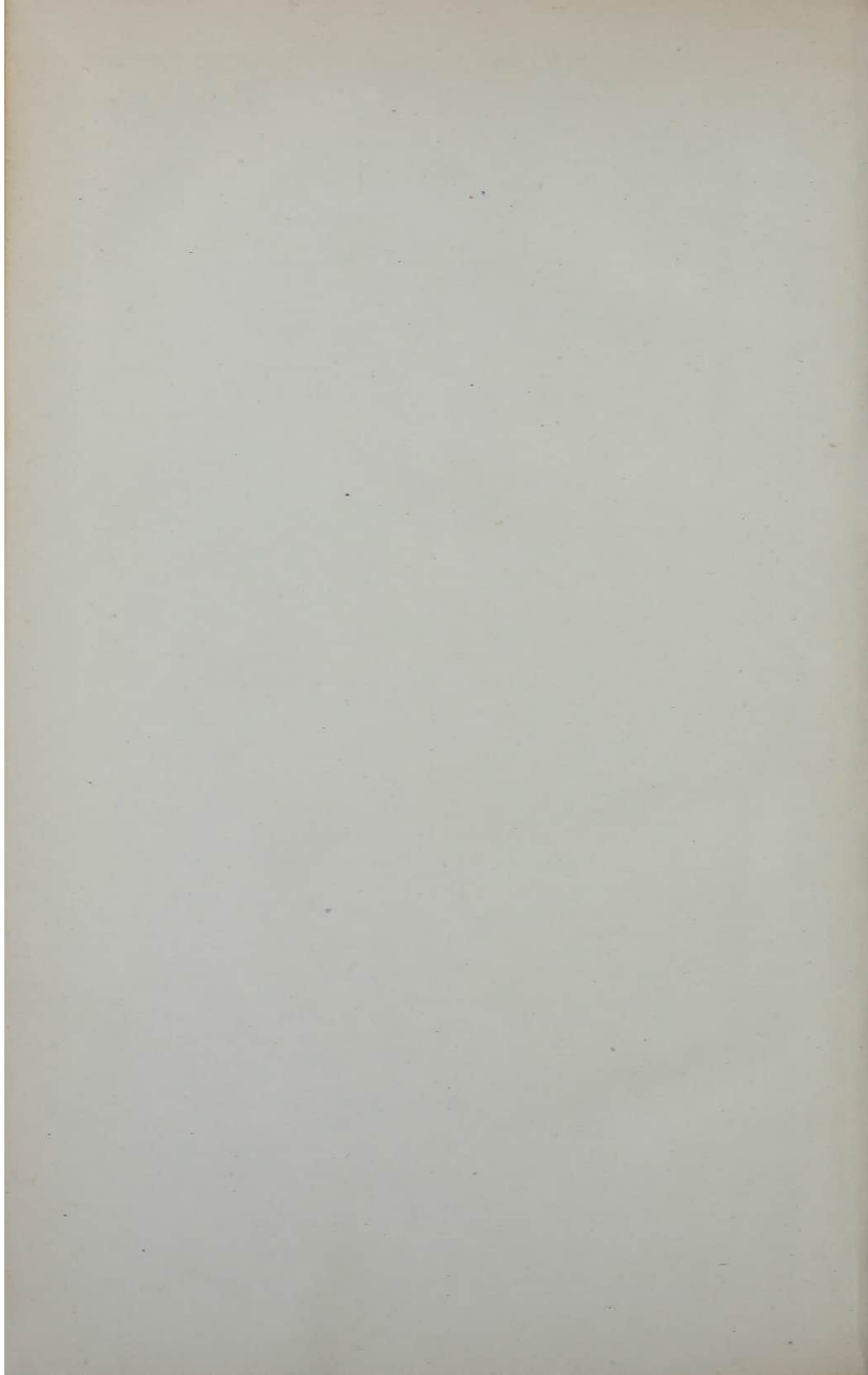
О Г Л А В Л Е Н И Е

ТРИ КОМПОЗИЦИИ	5
I. ХУДОЖНИКИ ТОНКОЙ КИСТИ	11
Утро	13
Пути в искусство	17
Собрание мастеров	20
Два художника	25
Лирика красок	27
Голоса мира	38
Раассыпанная картина	47
Удаки	55
Старый мастер	58
Художник-педагог	63
Родники стила	65
Зима на миниатюре	66
Автоновский	67
„Цыганы“ Николая Култышева	70
Цветочная конница	71
II. ПРОБЕГ КИСТЬЮ	75
Сокровища веков	77
Русские голландцы	80
Пробег кистью	81
Председатель артели	83
От станка к кисти	85
Бабочка	87
Художники жизни	89
III. РОМОДАНЬ	93
Мстерские были	95
Музей	97
Ромодань	103
Старая Мстера	106
Купцы	111
Офени	115
Старинщики	117
Вечер воспоминаний	122
Иконники	127
Поэт и купец	138
Два изобретателя	143
IV. КРАСКИ — РАДОСТЬ	147
Газета художников	149
Клеенка и полотно	150
За мольбертом	155
Художник Мавин	158
В лугах	161
Зачинатели и продолжатели	166
Слова и краски	168
Урожай	172
Краски — радость	174

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

УЛ. КРАСНОЙ





24-68

3 руб. 25 коп.

